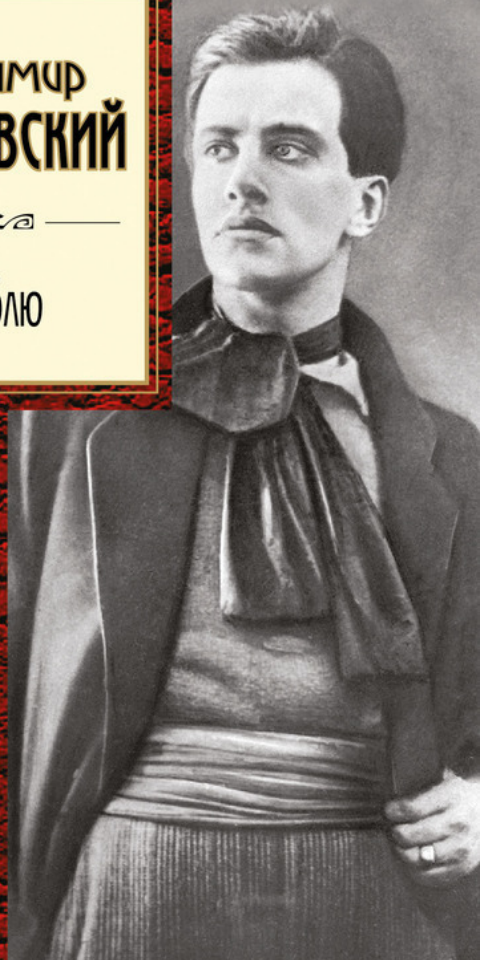


Владимир  
**МЯКОВСКИЙ**



Люблю



# Владимир Владимирович Маяковский

## Люблю. Лирика

### Серия «Золотая серия поэзии (Эксмо)»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24389558](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24389558)*

*Люблю: лирика / Владимир Маяковский.: «Э»; Москва; 2017*

*ISBN 978-5-699-96743-8, 978-5-699-97032-2*

### **Аннотация**

Гений всегда универсален, но в предлагаемой книге Владимир Маяковский представлен прежде всего как лирик трагического мироощущения, который с русским избыточным нетерпением «торопил свою судьбу» (А. Ахматова), и как острый сатирик, веривший в высокие идеалы, но в жизни столкнувшийся с их чудовищными искажениями.

# Содержание

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1                         | 7  |
| Я сам                     | 9  |
| 11 бутырских месяцев      | 9  |
| Так называемая дилемма    | 11 |
| Начало мастерства         | 13 |
| Последнее училище         | 14 |
| Давид бурлюк              | 15 |
| В курилке                 | 16 |
| Памятнейшая ночь          | 17 |
| Следующая                 | 18 |
| Бурлючье чудачество       | 20 |
| Так ежедневно             | 21 |
| Ночь                      | 22 |
| А вы могли бы?            | 23 |
| Вывескам                  | 24 |
| От усталости              | 25 |
| Нате!                     | 26 |
| Ничего не понимают        | 27 |
| Кофта фата                | 28 |
| Послушайте!               | 29 |
| А все-таки                | 34 |
| Пролог                    | 37 |
| Скрипка и немножко нервно | 40 |

|  |     |
|--|-----|
| Я и Наполеон   | 44  |
| Вам!   | 48  |
| Военно-морская любовь  | 51  |
| Пролог   | 53  |
| Облако в штанах  | 58  |
| Хорошо!  | 91  |
| Эй!  | 122 |
| Левый марш   | 125 |
| Хорошее отношение к лошадям  | 128 |
| Крым   | 131 |
| Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия» | 133 |
| Стихи о советском паспорте   | 136 |
| Товарищу Нетте – пароходу и человеку   | 141 |
| Лиличка!   | 147 |
| Себе, любимому, посвящает эти строки автор   | 151 |
| Флейта-позвоночник   | 154 |
| Люблю  | 169 |
| Про что – про это?   | 173 |
| Про это  | 177 |
| Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви                                  | 186 |
| Письмо Татьяне Яковлевой   | 193 |
| <Неоконченное>   | 202 |

|  |     |
|--|-----|
| О дряни  | 206 |
| Прозаседавшиеся  | 209 |
| Товарищ Иванов   | 212 |
| Столп  | 216 |
| Стихи о разнице вкусов   | 220 |
| Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о<br>всероссийском масштабе          | 221 |
| Я счастлив!  | 225 |
| Из цикла «Париж»   | 230 |
| Еду  | 230 |
| Город  | 234 |
| Прощание   | 239 |
| Испания  | 245 |
| Мелкая философия на глубоких местах                                      | 247 |
| Тропики  | 251 |
| Мексика – Нью-Йорк   | 254 |
| Бродвей  | 257 |
| Бруклинский мост   | 261 |
| Прощанье   | 268 |
| Братья писатели  | 270 |
| Необычайное приключение, бывшее с<br>Владимиром Маяковским летом на даче | 273 |
| Приказ по армии искусства  | 279 |
| Юбилейное  | 281 |
| Тамара и Демон   | 294 |
| Сергею Есенину   | 301 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Четырехэтажная халтура             | 309 |
| Разговор с фининспектором о поэзии | 315 |
| Массам непонятно                   | 328 |
| Во весь голос                      | 334 |

# Владимир Маяковский Люблю: лирика

1



Во внутреннем оформлении использованы фото-

графии:

© Родченко А.М.;

© Николай Петров, А.Темерин / РИА Новости.

Серия «Золотая серия поэзии»

Оформление А. Саукова

В оформлении обложки использован фотопортрет В.В. Маяковского из Архива РИА Новости и репродукция картины «Улица входит в дом» (1911) художника Умберто Боччони (1882–1916)

Серия «Всемирная библиотека поэзии»

Оформление А. Саукова

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.



# Я сам (Из автобиографии)

## 11 бутырских месяцев



Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики – бросился на беллетристику. Перечел все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво.

Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,  
Солнце играло на главах церквей.  
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,  
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзира-

телям – при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу – виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

# Так называемая дилемма

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, – так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии – надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива – всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнут прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело – «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною – «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу – я еще не знал, что это такое, – я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товари-

щу по партии – Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

# Начало мастерства

Думалось – стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взятся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебрянькие сервизики. Через год догадался – учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование – мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

# Последнее училище

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо.

Удивило: подражателей лелеют – самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

# Давид бурлюк

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

## **В курилке**

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.



# Памятнейшая ночь

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной – на всю классическую скуку. У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

## Следующая

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сretenский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.



В. Маяковский – ученик Строгановского Училища.  
Москва, 1910 г.

# Бурлючье чудачество

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

## **Так ежедневно**

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – «Багровый и белый» и другие.

# Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,  
в зеленый бросали горстями дукаты,  
а черным ладоням сбежавшихся окон  
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно  
увидеть на зданиях синие тоги.  
И раньше бегущим, как желтые раны,  
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —  
плыла, изгибаясь, дверями влекома;  
каждый хотел протащить хоть немножко  
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,  
в глаза им улыбку протиснул; пугая  
ударами в жуть, хохотали арапы,  
над лбом расцветивши крыло попугая.

# А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,  
плеснувши краску из стакана;  
я показал на блюде студня  
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы  
прочел я зовы новых губ.

А вы  
ноктюрн сыграть  
могли бы  
на флейте водосточных труб?

1913

# Вывескам

Читайте железные книги!  
Под флейту золóченной буквы  
полезут копченые сиги  
и золотокудрые брюквы.

А если веселóстью песьей  
закружат созвездия «Магги» —  
бюро похоронных процессий  
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,  
загасит фонарные знаки,  
влюбляйтесь под небом харчевен  
в фаянсовых чайников маки!

1913



# От усталости

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову  
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова  
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас – двое,

ораненных, загнанных ланями,  
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,  
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,  
может быть, мать мне сыщется;  
бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю  
канава, зеленая сыщица,  
нас заневолить  
веревками грязных дорог.

# Нате!

Через час отсюда в чистый переулок  
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,  
а я вам открыл столько стихов шкатулок,  
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста  
где-то недокушанных, недоеденных щей;  
вот вы, женщина, на вас белила густо,  
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца  
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.  
Толпа озверев, будет тереться,  
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,  
кривляться перед вами не захочется – и вот  
я захохочу и радостно плюну,  
плюну в лицо вам  
я – бесценных слов транжир и мот.

# Ничего не понимают

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:  
«Будьте добры́, причешите мне уши».  
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,  
лицо вытянулось, как у груши.  
«Сумасшедший!  
Рыжий!» —  
запрыгали слова.  
Ругань металась от писка до писка,  
и до-о-о-о-лго  
хихикала чья-то голова,  
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

# Кофта фата

Я сошью себе черные штаны  
из бархата голоса моего.  
Желтую кофту из трех аршин заката.  
По Невскому мира, по лощеным полосам его,  
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:  
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»  
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:  
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,  
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,  
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,  
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта  
девушка, смотрящая на меня, как на брата,  
закидайте улыбками меня, поэта, —  
я цветами нашью их мне на кофту фата!

# Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?

Значит – кто-то называет эти плевóчки  
жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полуденной пыли,

врывается к Богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную му́ку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды  
зажигают —  
значит – это кому-нибудь нужно?  
Значит – это необходимо,  
чтобы каждый вечер  
над крышами  
загоралась хоть одна звезда?!

1914



В один злополучный день, в седьмом часу вечера, после работы на фабрике, я вошла в комнату, где мама у туалетного стола примеряла Володе кофту из широких полос бумазеи желтого и черного цвета. Я собиралась рассердиться на Володю за эту очередную выдумку, но, увидев, как шла к нему эта кофта, оттеняя красивое, смуглое его лицо, горели горячим и смелым блеском его глаза, как горда и решительна в наступательном движении его высокая и складная молодая фигура, – я спасовала. Володя торопил. Мама и сестра вдвоем дошивали кофту. Тут же был Василий Каменский. Он и Володя острили по поводу будущего эффекта, который произведет Желтая кофта

на предстоящем вечере. Все мы от души смеялись. Потом сели пить чай... После чая мы весело проводили Володю. Он отправился на литературный вечер.

Я спросила маму: «Как возникла эта кофта?» Мама рассказала:

– Утром принес Володя бумазею. Я очень удивилась ее цвету, спросила, для чего она, и отказалась было шить. Но Володя настаивал: «Мама, я все равно сошью эту блузу. Она мне нужна для сегодняшнего выступления. Если вы не сошьете, то я отдам портному. Но у меня нет денег, и я должен искать и деньги, и портного. Я ведь не могу пойти в своей черной блузе! Меня швейцары не пропустят. А этой кофтой заинтересуются, опешат и пропустят. Мне обязательно нужно выступить сегодня».

Мама знала, что у Володи нет денег, и знала, что он сделает так, как хочет... Так появилась на свет знаменитая Желтая кофта.

*Людмила Маяковская. «Пережитое»*



Владимир Константинович Маяковский  
(1857–1906), 1893 г.

Александра Алексеевна Маяковская  
(1867–1954), 1893 г.





Семья Маяковских.  
Кутаиси, 1905 г.

# А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.  
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.  
Отбросив белье до последнего листика,  
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,  
выжженный квартал  
надел на голову, как рыжий парик.  
Людям страшно – у меня изо рта  
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,  
как пророку, цветами устелят мне след.  
Все эти, провалившиеся носами, знают:  
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!  
Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки, как святыню, на руках понесут  
и покажут Богу в свое оправдание.

И Бог заплачет над моею книжкой!  
Не слова – судороги, слипшиеся комом;  
и побежит по небу с моими стихами под мышкой

и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914



Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия – одно недоуразумение, временно не разъясненное.

И как было просто это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия

называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

*Борис Пастернак. «Охранная грамота»*

# Пролог (Из трагедии «Владимир Маяковский»)

Вам ли понять,  
почему я,  
спокойный,  
насмешек грозою  
душу на блюде несу  
к обеду идущих лет.  
С небритой щеки площадей  
стекая ненужной слезою,  
я,  
быть может,  
последний поэт.  
Замечали вы —  
качается  
в каменных аллеях  
полосатое лицо повешенной скуки,  
а у мчащихся рек  
на взмыленных шеях  
мосты заломили железные руки.  
Небо плачет  
безудержно,  
звонко;

а у облачка  
гримаска на морщинке ротика,  
как будто женщина ждала ребенка,  
а Бог ей кинул кривого идиотика.  
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках  
солнце изласкало вас назойливостью овода —  
в ваших душах выцелован раб.  
Я, бесстрашный,  
ненависть к дневным лучам понес в веках;  
с душой натянутой, как нервы провода,  
я —  
царь ламп!  
Придите все ко мне,  
кто рвал молчание,  
кто выл  
оттого, что петли полдней туги, —  
я вам открою  
словами  
простыми, как мычанье,  
наши новые души,  
гудящие,  
как фонарные дуги.  
Я вам только головы пальцами трону,  
и у вас  
вырастут губы  
для огромных поцелуев  
и язык,  
родной всем народам.  
А я, прихрамывая душонкой,

уйду к моему трону  
с дырами звезд по истертым сводам.  
Лягу,  
светлый,  
в одеждах из лени  
на мягкое ложе из настоящего навоза,  
и тихим,  
целующим шпал колени,  
обнимет мне шею колесо паровоза.

1913

# Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,  
и вдруг разревелась  
так по-детски,  
что барабан не выдержал:  
«Хорошо, хорошо, хорошо!»  
А сам устал,  
не дослушал скрипкиной речи,  
шмыгнул на горящий Кузнецкий  
и ушел.  
Оркестр чужо смотрел, как  
выплакивалась скрипка  
без слов,  
без такта,  
и только где-то  
глупая тарелка  
вылязгивала:  
«Что это?»  
«Как это?»  
А когда геликон —  
меднорожий,  
потный,  
крикнул:  
«Дура,  
плакса,



вытри!» —  
я встал,  
шатаясь полез через ноты,  
сгибающиеся под ужасом пюпитры,  
зачем-то крикнул:  
«Боже!»,  
бросился на деревянную шею:  
«Знаете что, скрипка?  
Мы ужасно похожи:  
я вот тоже  
ору —  
а доказать ничего не умею!»  
Музыканты смеются:  
«Влип как!  
Пришел к деревянной невесте!  
Голова!»  
А мне – наплевать!  
Я – хороший.  
«Знаете что, скрипка?  
Давайте —  
будем жить вместе!  
А?»

1914



Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.<...>

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистоичимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, – это не главное в нем, а главное – железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял се-

бе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.<...>

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

*Борис Пастернак. «Люди и положения»*

# Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,  
36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется – какое мне дело,  
что где-то  
в буре-мире  
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые  
дрожат, пугливо поворачивая  
глаза громадные, как прожекторы?  
Уличные толпы к небесной влаге  
припали горящими устами,  
а город, вытрепав ручонки-флаги,  
молится и молится красными крестами.

Простоволосая церковка бульварному изголовью  
припала, – набитый слезами куль, —  
а у бульвара цветники истекают кровью,

как сердце, изодранное пальцами пуль.  
Тревога жиреет и жиреет,  
жрет зачерствевший разум.

Уже у Ноева оранжереи  
покрылись смертельно-бледным газом!  
Скажите Москве —  
пускай удержится!  
Не надо!  
Пусть не трясется!  
Через секунду  
встречу я  
неб самодержца, —  
возьму и убью солнце!  
Видите!  
Флаги по небу полощет.  
Вот он!  
Жирен и рыж.  
Красным копытом грохнув о площадь,  
въезжает по трупам крыш!

Тебе,  
орущему:  
«Разрушу,  
разрушу!»,  
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,  
я,  
сохранивший бесстрашную душу,  
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,  
сложите в костер лица!  
Все равно!  
Это нам последнее солнце —  
солнце Аустерлица!  
Идите, сумасшедшие, из России, Польши.  
Сегодня я – Наполеон!  
Я полководец и больше.  
Сравните:  
я и – он!

Он раз чуме приблизился тронем,  
смелостью смерть поправ, —  
я каждый день иду к зачумленным  
по тысячам русских Яфф!  
Он раз, не дрогнув, стал под пули  
и славится столетий сто, —  
а я прошел в одном лишь июле  
тысячу Аркольских мостов!  
Мой крик в граните времени выбит,  
и будет греметь и гремит,  
оттого, что  
в сердце, выжженном, как Египет,  
есть тысяча тысяч пирамид!  
За мной, изъеденные бессонницей!  
Выше!  
В костер лица!  
Здравствуй,

мое предсмертное солнце,  
солнце Аустерлица!

Люди!  
Будет!  
На солнце!  
Прямо!  
Солнце съежится аж!  
Громче из сжатого горла храма  
хрипи, похоронный марш!

Люди!  
Когда канонизируете имена  
погибших,  
меня известней, —  
помните:  
еще одного убила война —  
поэта с Большой Пресни!

1915

# Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как, —  
может быть, сейчас бомбой ноги  
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,  
вдруг увидел, израненный,  
как вы измазанной в котлете губой  
похотливо напеваετε Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,  
жизнь отдавать в угоду?!  
Я лучше в баре блядям буду  
подавать ананасную воду!





«Первый вечер речетворцев», состоявшийся 13 октября в помещении Общества любителей художества на Большой Дмитровке, привлек множество публики. Билеты расхватали в какой-нибудь час.

Успех вечера был в сущности успехом Маяковского. Непринужденность, с которой он держался на подмостках, замечательный голос, выразительность интонаций и жеста сразу выделили его из среды остальных участников.

Глядя на него, я понял, что не всегда тезисы к чему-то обязывают. Никакого доклада не было: таинственные даже для меня, египтяне и греки, гладившие черных (и непременно сухих) кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, открывшими электричество, из чего делался вывод о тысячелетней давности урбанистической культуры и... футуризма. Лики городов в зрачках речетворцев отражались, таким образом, приблизительно со времен первых египетских династий, водосточные трубы исполняли берсеусе чуть ли не в висячих садах Семи-раиды, и вообще будетлянство возникло почти сейчас же вслед за сотворением мира.

Эта веселая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши.<...>

Всем было весело. Нас встречали и провожали рукоплесканиями, невзирая на заявление Крученых, что он сладострастно жаждет быть освистанным...

Мы не обижались на эти аплодисменты, хотя и не обманывались насчет их истинного смысла.

Газеты... предрекали нам скорый конец.

*Бенедикт Лившиц.*

*«Полутораглазый стрелец»*

# Военно-морская любовь

По морям, играя, носится  
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,  
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,  
благодарью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,  
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:  
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево, вправо ль бросится,  
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему  
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:  
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам  
мир в семействе миноносином?

1915

# Пролог

## (Из поэмы «Война и мир»)

Хорошо вам.  
Мертвые сраму не имут.  
Злобу  
к умершим убийцам туши.  
Очистительнейшей влагой вымыт  
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!  
А мне  
сквозь строй,  
сквозь грохот  
как пронести любовь к живому?  
Оступлюсь —  
и последней любвишки кроха  
навек канет в дымный омут.

Что́ им,  
вернувшись,  
печали ваши,  
что́ им  
каких-то стихов бахрома?!  
Им  
на паре б деревяшек

день кое-как прохромать!

Боишься!

Трус!

Убьют!

А так

полсотни лет еще можешь, раб, расти.

Ложь!

Я знаю,

и в лаве атак

я буду первый

в геройстве,

в храбрости.

О, кто же,

набатом гибнущих годин

званный,

не выйдет брав?

Все!

А я

на земле

один

глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!

Не разбрызгав,

душу

сумел,

сумел донести.  
Единственный человечесий,  
среди воя,  
среди визга,  
голос  
подъемлю днесь.

А там расстреливайте,  
вяжите к столбу!  
Я ль изменюсь в лице!  
Хотите —  
туза  
нацеплю на лбу,  
чтоб ярче горела цель?!

1915–1916



«Облако в штанах». Оно начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае, что это ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и загла-

вие. Это – вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили – как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали «Облако», у них спрашивали «в штанах»? При этом они бежали, потому что нехорошее заглавие.

*Владимир Маяковский.*

*Из выступления в Доме Комсомола*

*Красной Пресни на вечере, посвященном  
двадцатилетию деятельности,*

*25 марта 1930 года*





Владимир Маяковский.  
1915 г.

# Облако в штанах Тетраптих

Вашу мысль,  
мечтающую на размягченном мозгу,  
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,  
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;  
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,  
и старческой нежности нет в ней!  
Мир оgrößив мощью голоса,  
иду – красивый,  
двадцатидвухлетний.

Нежные!  
Вы любовь на скрипки ложите.  
Любовь на литавры ложит грубый.  
А себя, как я, вывернуть не можете,  
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —  
из гостиной батистовая,  
чинная чиновница ангельской лиги.  
И которая губы спокойно перелистывает,  
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —  
буду от мяса бешеный  
— и, как небо, меняя тона —  
хотите —  
буду безукоризненно нежный,  
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!  
Мною опять славословятся  
мужчины, залежанные, как больница,  
и женщины, истрепанные, как пословица.

## 1

Вы думаете, это бредит малярия?  
Это было,  
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.  
Девять.  
Десять.

Вот и вечер

В ночную жуть  
ушел от окон,  
хмурый,  
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут  
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:  
жилистая громадина  
стонет,  
корчится.  
Что может хотеться этакой глыбе?  
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно  
и то, что бронзовый,  
и то, что сердце – холодной железкою.  
Ночью хочется звон свой  
спрятать в мягкое,  
в женское.

И вот,  
громадный,  
горблюсь в окне,  
плавлю лбом стекло окошечное.  
Будет любовь или нет?  
Какая —  
большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:  
должно быть, маленький,  
смирный любёночек.  
Она шарахается автомобильных гудков.  
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,  
уткнувшись дождю  
лицом в его лицо рябое,  
жду,  
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,  
догна́ла,  
зарезала, —  
вон его!

Упал двенадцатый час,  
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые  
свылись,  
гримасу громадили,  
как будто воют химеры  
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!  
Что же, и этого не хватит?  
Скоро криком издерется рот.

Слышу:  
тихо,  
как больной с кровати,  
спрыгнул нерв.

И вот, —  
сначала прошелся  
едва-едва,  
потом забегал,  
взволнованный,  
четкий.  
Теперь и он, и новые два  
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —  
большие,  
маленькие,  
многие! —  
скачут бешеные,  
и уже  
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —  
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,  
будто у гостиницы

не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,  
резкая, как «нате!»,  
муча перчатки замш,  
сказала:  
«Знаете —  
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.  
Ничего.  
Покреплюсь.  
Видите – спокоен как!  
Как пульс  
покойника.

Помните?  
Вы говорили:  
«Джек Лондон,  
деньги,  
любовь,  
страсть», —  
а я одно видел:  
вы – Джиоконда,  
которую надо украсть!

И украли.  
Опять влюбленный выйду в игры,  
огнем озаряя бровей загиб.

Что же!  
И в доме, который выгорел,  
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?  
«Меньше, чем у нищего копеек,  
у вас изумрудов безумий».  
Помните!  
Погибла Помпея,  
когда раздразили Везувий!

Эй!  
Господа!  
Любители  
святотатств,  
преступлений,  
боен, —  
а самое страшное  
видели —  
лицо мое,  
когда  
я  
абсолютно спокоен?

И чувствую —  
«я»  
для меня мало́.  
Кто-то из меня вырывается упрямо.



Алло!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле, —

ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.  
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем  
из трещины губ  
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!  
Петь не могу.  
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел  
из черепа,  
как дети из горящего здания.  
Так страх  
схватиться за небо  
высил  
горящие руки «Лузитании».  
Трясущимся людям  
в квартирное тихо  
стоглазое зарево рвется с пристани.  
Крик последний, —  
ты хоть  
о том, что горю, в столетия выстони!

Славьте меня!  
Я великим не чета.  
Я над всем, что сделано,  
ставлю «nihil»<sup>1</sup>.  
Никогда  
ничего не хочу читать.  
Книги?  
Что книги!

Я раньше думал —  
книги делаются так:  
пришел поэт,  
легко разжал уста,  
и сразу запел вдохновенный простак —  
пожалуйста!

А оказывается —  
прежде чем начнет петься,  
долго ходят, размозолев от брожения,  
и тихо барахтаются в тине сердца  
глупая вобла воображения.  
Пока выкипачивают, рифмами пиликаая,  
из любвей и соловьев какое-то варево,

---

<sup>1</sup> «Ничто» (лат.).

улица корчится безъязыкая —  
ей нечем кричать и разговаривать.  
Городов вавилонские башни,  
возгордись, возносим снова,  
а Бог  
города на пашни  
рушит,  
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.  
Крик торчком стоял из глотки.  
Топорщились, застрявшие поперек горла,  
пухлые taxi<sup>2</sup> и костлявые пролетки.  
Грудь испешеходили.  
Чохотки плоче.

Город дорогу мраком запер.

И когда —  
все-таки! —  
выхаркнула давку на площадь,  
спихнув наступившую на горло паперть,  
думалось:  
в хóрах архангелова хорала  
Бог, ограбленный, идет карать!  
А улица присела и заорала:  
«Идемте жрать!»

---

<sup>2</sup> Такси (фр.).

Гримируют городу Круппы и Круппки  
грозящих бровей морщь,  
а во рту  
умерших слов разлагаются трупики,  
только два живут, жирея —  
«сволочь»  
и еще какое-то,  
кажется – «борщ».

Поэты,  
размокшие в плаче и всхлипе,  
бросились от улицы, ероша космы:  
«Как двумя такими выпеть  
и барышню,  
и любовь,  
и цветочек под росами?»  
А за поэтами —  
уличные тыщи:  
студенты,  
проститутки,  
подрядчики.

Господа!  
Остановитесь!  
Вы не нищие,  
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,

с шагом саженым,  
надо не слушать, а рвать их —  
их,  
присосавшихся бесплатным приложением  
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:  
«Помоги мне!»  
Молить о гимне,  
об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —  
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,  
феерией ракет  
скользящего с Мефистофелем в небесном  
паркете!

Я знаю —  
гвоздь у меня в сапоге  
кошмарней, чем фантазия у Гёте!

Я,  
златоустейший,  
чье каждое слово  
душу новородит,  
именинит тело,  
говорю вам:

мельчайшая пылинка живого  
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!

Проповедует,  
мечась и стена,  
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы

с лицом, как заспанная простыня,  
с губами, обвисшими, как люстра,  
мы,  
каторжане города-лепрозория,  
где золото и грязь изъязвили проказу, —  
мы чище венецианского лазорья,  
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет  
у Гомеров и Овидиев  
людей, как мы,  
от копоты в оспе.

Я знаю —  
солнце померкло б, увидев  
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.  
Нам ли вымаливать милостей времени!  
Мы —  
каждый —

держим в своей пятерне  
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий  
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,  
и не было ни одного,  
который  
не кричал бы:  
«Распни,  
распни его!»  
Но мне —  
люди,  
и те, что обидели, —  
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,  
как собака бьющую руку лижет?!

Я,  
обсмеянный у сегодняшнего племени,  
как длинный  
скабрзный анекдот,  
вижу идущего через горы времени,  
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,  
главой голодных орд,  
в терновом венце революций  
грядет шестнадцатый год.



А я у вас – его предтеча;  
я – где боль, везде;  
на каждой капле слёзовой течи  
ра́спял себя на кресте.  
Уже ничего простить нельзя.  
Я выжег души, где нежность растили.  
Это труднее, чем взять  
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,  
приход его  
мятежом оглашая,  
выйдете к спасителю —  
вам я  
душу вытащу,  
растопчу,  
чтоб большая! —  
и окровавленную дам, как знамя.

### 3

Ах, зачем это,  
откуда это  
в светлое весело  
грязных кулачищ замах!

Пришла  
и голову отчаянием занавесила  
мысль о сумасшедших домах.

И—  
как в гибель дредноута  
от душащих спазм  
бросаются в разинутый люк —  
сквозь свой  
до крика разодранный глаз  
лез, обезумев, Бурлюк.  
Почти окровавив исслезенные веки,  
вылез,  
встал,  
пошел

и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,  
взял и сказал:  
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту  
душа от осмотров укутана!  
Хорошо,  
когда брошенный в зубы эшафоту,  
крикнуть:  
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,

бенгальскую  
громкую,  
я ни на что б не выменял,  
я ни на...

А из сигарного дыма  
ликерною рюмкой  
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом  
и, серенький, чирикать, как перепел!  
Сегодня  
надо  
кастетом  
кроиться миру в черепе!

Вы,  
обеспокоенные мыслью одной —

«изящно пляшу ли», —  
смотрите, как развлекаюсь  
я —  
площадной  
сутенер и карточный шулер!  
От вас,  
которые влюбленностью мокли,  
от которых  
в столетия слеза лилась,  
уйду я,

солнце моноклем  
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,  
пойду по земле,  
чтоб нравился и жегся,  
а впереди  
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,  
заерзает мясами, хотя отдаться;  
вещи оживут —  
губы вещицы  
засюсюкают:  
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг  
и тучи  
и облачное прочее  
подняло на небе невероятную качку,  
как будто расходятся белые рабочие,  
небу объявив озлобленную стачку.  
Гром из-за тучи, зверея, вылез,  
громадные ноздри задорно высморкал,  
и небе лицо секунду кривилось  
суровой гримасой железного Бисмарка.  
И кто-то,  
запутавшись в облачных путях,  
вытянул руки к кафе —

и будто по-женски,  
и нежный как будто,  
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —  
это солнце нежненько  
треплет по щечке кафе?  
Это опять расстрелять мятежников  
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —  
берите камень, нож или бомбу,  
а если у которого нету рук —  
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,  
потненькие,  
покорненькие,  
закишие в блохастом грязненьке!  
Идите!

Понедельники и вторники  
окрасим кровью в праздники!  
Пускай земле под ножами припомнится,  
кого хотела опошлить!  
Земле,  
обжиревшей, как любовница,  
которую вылюбил Ротшильд!  
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,  
как у каждого порядочного праздника —

выше вздымайте, фонарные столбы,  
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,  
вымаливался,  
резал,  
лез за кем-то  
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,  
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,  
перекусит  
и съест.  
Видите —  
небо опять иудит  
пригоршню обрызганных предательством  
звезд?

Пришла.  
Пирует Мамаем,  
задом на город насев.  
Эту ночь глазами не проломаем,  
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,  
вином обливаю душу и скатерть  
и вижу:  
в углу – глаза круглы, —  
глазами в сердце въелась богоматерь.  
Чего одаривать по шаблону намалеванному  
сиянием трактирную ораву!  
Видишь – опять  
голгофнику оплеванному  
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я  
в человеческом месиве  
лицом никого не новей.

Я,  
может быть,  
самый красивый  
из всех твоих сыновей.

Дай им,  
заплесневшим в радости,  
скорой смерти времени,  
чтоб стали дети, должные подрасти,  
мальчики – отцы,  
девочки – забеременели.  
И новым рожденным дай обрасти  
пытливой сединой волхвов,

и придут они —  
и будут детей крестить  
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,  
может быть, просто,  
в самом обыкновенном Евангелии  
тринадцатый апостол.  
И когда мой голос  
похабно ухаает —  
от часа к часу,  
целые сутки,  
может быть, Иисус Христос нюхает  
моей души незабудки.

## 4

Мария! Мария! Мария!  
Пусти, Мария!  
Я не могу на улицах!  
Не хочешь?

Ждешь,  
как щеки провалятся ямкою,  
попробованный всеми,  
пресный,



я приду  
и беззубо прошамкаю,  
что сегодня я  
«удивительно честный».

Мария,  
видишь —  
я уже начал сутулиться.

В улицах  
люди жир продырявят в четырехэтажных  
зобах,  
высунут глазки,  
потертые в сорокгодовой таске, —  
перехихикиваться,  
что у меня в зубах  
— опять! —  
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,  
лужами сжатый жулик,  
мокрый, лижет улиц забитый булыжником  
труп,  
а на седых ресницах —  
да! —

на ресницах морозных сосулек  
слезы из глаз —  
да! —

из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,  
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:  
лопались люди,  
проевшись насквозь,  
и сочилось сквозь трещины сало,  
мутной рекой с экипажей стекала  
вместе с иссосанной булкой  
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажившее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку

Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло  
звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.  
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь – натыканы  
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!

Не бойся,  
что у меня на шее воловьей  
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —  
это сквозь жизнь я тащу  
миллионы огромных чистых любовей  
и миллион миллионов маленьких грязных любят.  
Не бойся,  
что снова,  
в измены ненастье,  
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —  
«любящие Маяковского!» —  
да ведь это ж династия  
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.  
Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,

в боящейся дрожи ли,  
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:  
я с сердцем ни разу до мая не дожили,  
а в прожитой жизни  
лишь сотый апрель есть.

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,  
а я —  
весь из мяса,  
человек весь —  
тело твое просто прошу,  
как просят христиане —  
«хлеб наш насущный  
даждь нам днесь».

Мария – дай!

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,  
как поэт боится забыть  
какое-то  
в муках ночей рожденное слово,  
величием равное Богу.

Тело твое  
я буду беречь и любить,  
как солдат,  
обрубленный войною,  
ненужный,

ничей,  
бережет свою единственную ногу.

Мария —  
не хочешь?  
Не хочешь!

Ха!  
Значит – опять  
темно и понуро  
сердце возьму,  
слезами окапав,  
нести,  
как собака,  
которая в конуру  
несет  
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,  
липнет цветами у пыли кителя.  
Тысячу раз опляшет Иродиадой  
солнце землю —  
голову Крестителя.

И когда мое количество лет  
выпляшет до конца —  
миллионном кровинок устелется след  
к дому моего отца.

Вылезу  
грязный (от ночевок в канавах),  
стану бок о бок,  
наклонюсь  
и скажу ему на́ ухо:  
– Послушайте, господин Бог!  
Как вам не скушно  
в облачный кисель  
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?  
Давайте – знаете —  
устроимте карусель  
на дереве изучения добра и зла!  
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,  
и вина такие расставим по́ столу,  
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу  
хмурому Петру Апостолу.  
А в рае опять поселим Евочек:  
прикажи, —  
сегодня ночью ж  
со всех бульваров красивейших девочек  
я натащу тебе.

Хочешь?  
Не хочешь?  
Мотаешь головою, кудластый?  
Супишь седую бровь?  
Ты думаешь —  
этот,  
за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —  
сахарным барашком выглядывал в глаз,  
но больше не хочу дарить кобылам  
из севрской мўки изваянных ваз.  
Всемогущий, ты выдумал пару рук,  
сделал,  
что у каждого есть голова, —  
отчего ты не выдумал,  
чтоб было без мук  
целовать, целовать, целовать?!

Я думал – ты всесильный божище,  
а ты недоучка, крохотный божик.  
Видишь, я нагибаюсь,  
из-за голенища  
достаю сапожный ножик.  
Крыластые прохвосты!  
Жмитесь в раю!  
Ерошьте перышки в испуганной тряске!  
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою  
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.  
Вру я,  
вправе ли,

но я не могу быть спокойней.

Смотрите —  
звезды опять обезглавили  
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!  
Небо!  
Снимите шляпу!  
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,  
положив на лапу  
с клещами звезд огромное ухо.

1914–1915





В. Маяковский. 1929 г.  
Кинокадр



Свои стихи он читал тогда с величайшей охотой всюду, где соберется толпа, и замечательно, что многие уже тогда смутно чувствовали в нем динамитчика и относились к нему с инстинктивной злобой. Неко-

торые наши соседи перестали ходить к нам в гости оттого, что у нас в доме бывал Маяковский.<...>

О политике мы с Маяковским тогда не говорили ни разу; он, казалось, был весь поглощен своей поэтической миссией. Заставлял меня переводить ему вслух Уолта Уитмена, издевательски, но очень внимательно штудировал Иннокентия Анненского и Валерия Брюсова, с чрезвычайным интересом вникал в распри символистов с акмеистами, часами перелистывал у меня в кабинете журналы «Апполон» и «Весы» и по-прежнему выхаживал целые мили, шлифуя свое «Облако в штанах», —

Граненых строчек босой алмазник.

Поэтому я был очень изумлен, когда через год после начала войны, в спокойнейшем дачном затишье он написал пророческие строки о том, что победа революции близка.

Мы, остальные, не предчувствовали ее приближения и не понимали его грозных пророчеств...

*Корней Чуковский. «Из воспоминаний»*

# Хорошо!

## (Отрывки из поэмы)

6

Дул,  
как всегда,  
октябрь  
ветрами,  
как дуют  
при капитализме.  
За Троицкий  
дули  
авто и трамы,  
обычные  
рельсы  
вызмеив.  
Под мостом  
Нева-река,  
по Неве  
плывут кронштадтцы...  
От винтовок говорка  
скоро  
Зимнему шататься.

В бешеном автомобиле,  
покрышки сбивши,  
тихий,  
вроде  
упакованной трубы,  
за Гатчину,  
забившись,  
улепетывал бывший —  
«В рог,  
в бараний!  
Взбунтовавшиеся рабы!..»  
Видят  
редких звезд глаза,  
окружая  
Зимний  
в кольца,  
по Мильонной  
из казарм  
надвигаются кексгольмцы.  
А в Смольном,  
в думах  
о битве и войске,  
Ильич  
гримированный  
мечет шажки,  
да перед картой  
Антонов с Подвойским  
втыкают  
в места атак

флажки.  
Лучше  
власть  
добром оставь,  
никуда  
тебе  
не деться!  
Ото всех  
идут  
застав  
к Зимнему  
красногвардейцы.  
Отряды рабочих,  
матросов,  
голи —  
дошли,  
штыком домерцав,  
как будто  
руки  
сошлись на горле,  
холёном  
горле  
дворца.  
Две тени встало.  
Огромных и шатких.  
Сдвинулись.  
Лоб о лоб.  
И двор  
дворцовый

руками решетки  
стиснул  
торс  
толп.  
Качались  
две  
огромных тени  
от ветра  
и пуль скоростей, —  
да пулеметы,  
будто  
хрустенье  
ломаемых костей.  
Серчают стоящие павловцы:  
«В политику...  
начали...  
ба́ловаться...  
Куда  
против нас  
бочкаревским дурам?!  
Приказывали б  
на штурм».  
Но тень  
боролась,  
спутав лапы, —  
и лап  
никто  
не разнимал и не рвал.  
Не выдержав

молчания,  
сдавался слабый —  
уходил  
от испуга,  
от нерва́.  
Первым,  
боязнью одолен,  
снялся  
бабий батальон.  
Ушли с батарей  
к одиннадцати  
михайловцы или константиновцы...  
А Ке́ренский —  
спрятался,  
попробуй  
вымань его!  
Задумывалась  
казачья башка.  
И  
редели  
защитники Зимнего,  
как зубья  
у гребешка.  
И долго  
длилось  
это молчанье,  
молчанье надежд  
и молчанье отчаянья.  
А в Зимнем,

в мягких мебели́ях  
с бронзовыми вы́крутами,  
сидят  
министры  
в меди блях,  
и пахнет  
гладко выбритыми.  
На них не глядят  
и их не слушают —  
они  
у штыков в лесу.  
Они  
упадут  
переспевшей грушею,  
как только  
их  
потрясут.  
Голос – редок.  
Шепотом,  
знаками.  
– Ке́ренский где-то? —  
– Он?  
За казаками. —  
И снова молча.  
И только  
по́д вечер:  
– Где Прокопович? —  
– Нет Прокоповича. —  
А из-за Николаевского



чугунного моста́,  
как смерть,  
глядит  
неласковая  
Аврорьих  
башен  
сталь.  
И вот  
высоко  
над воротником  
поднялось  
лицо Коновалова.  
Шум,  
который  
тек родником,  
теперь  
прибоем наваливал.  
Кто длинный такой?..  
Дотянуться смог!  
По каждому  
из стекол  
удары палки.  
Это —  
из трехдюймовок  
шарахнули  
форты Петропавловки.  
А поверху  
город  
как будто взорван:

бабахнула  
шестидюймовка Авророва.  
И вот  
еще  
не успела она  
рассыпаться,  
гулка и грозна, —  
над Петропавловской  
взвѣлся  
фонарь,  
восстанья  
условный знак.  
— Долой!  
На приступ!  
Вперед!  
На приступ! —  
Ворва́лись.  
На ковры!  
Под раззолоченный кров!  
Каждой лестницы  
каждый выступ  
брали,  
перешагивая  
через юнкеров.  
Как будто  
водою  
комнаты по́лня,  
текли,  
сливались

над каждой потерей,  
и схватки  
вспыхивали  
жарче полдня  
за каждым диваном,  
у каждой портьеры.  
По этой  
анфиладе,  
приветствиями о́ранной  
монархам,  
несущим  
короны-клады, —  
бархатными залами,  
раскатистыми коридорами  
гремели,  
бились  
сапоги и приклады.  
Какой-то  
смущенный  
сукин сын,  
а над ним  
путиловец —  
нежней папаши:  
«ты,  
парнишка,  
выкладывай  
ворованные часы —  
часы  
теперича

наши!»  
Топот рос  
и тех  
тринадцать  
сгреб,  
забил,  
зашиб,  
затыркал.  
Забились  
под галстук —  
за что им приняться? —  
Как будто  
топор  
навис над затылком.  
За двести шагов...  
за тридцать...  
за двадцать...  
Вбегает  
юнкер:  
«Драться глупо!»  
Тринадцать визгов:  
— Сдаваться!  
Сдаваться! —  
А в двери —  
бушлаты,  
шинели,  
тулупы...  
И в эту  
тишину

раскатившийся всласть  
бас,  
окрепший  
над ряями рея:  
«Которые тут временные?  
Слазь!  
Кончилось ваше время».  
И один  
из ворвавшихся,  
пенснишки тронув,  
объявил,  
как об чем-то простом  
и несложном:  
«Я,  
председатель реввоенкомитета  
Антонов,  
Временное  
правительство  
объявляю низложенным».  
А в Смольном  
толпа,  
растопырив груди,  
покрывала  
песней  
фэйерверк сведений.  
Впервые  
вместо:  
— и это будет... —  
пели:

— и это есть  
наш последний... —  
До рассвета  
осталось  
не больше аршина, —  
руки  
лучей  
с востока взмóлены.  
Товарищ Подвойский  
сел в машину,  
сказал устало:  
«кончено...  
в Смольный».  
Умолк пулемет.  
Угодил толкóв.  
Умолкнул  
пуль  
звонящий улей.  
Горели,  
как звезды,  
границы штыков,  
бледнели  
звезды небес  
в карауле.  
Дул,  
как всегда,  
октябрь  
ветрами.  
Рельсы

по́ мосту вызмеив,  
гонку  
свою  
продолжали трамы  
уже —  
при социализме.

## 7

В такие ночи,  
в такие дни,  
в часы  
такой поры  
на улицах  
разве что  
одни  
поэты  
и воры́.  
Сумрак  
на мир  
океан катну́л.  
Синь.  
Над кострами —  
бур.  
Подводной  
лодкой

пошел ко дну  
взорванный  
Петербург.  
И лишь  
когда  
от горящих вихров  
шатался  
сумрак бурый,  
опять вспоминалось:  
с боков  
и с верхов  
непрерывная буря.  
На воду  
сумрак  
похож и так —  
бездонна  
синяя прорва.  
А тут  
еще  
и виденьем кита  
туша  
Авророва.  
Огонь  
пулеметный  
площадь остриг.  
Набережные —  
пусты.  
И лишь  
хорохорятся



костры  
в сумерках  
густых.  
И здесь,  
где земля  
от жары вязка́,  
с испугу  
или со льда́,  
ладони  
держа  
у огня в языках,  
греется  
солдат.  
Солдату  
упал  
огонь на глаза,  
на клочок  
волос  
лег.  
Я узнал,  
удивился,  
сказал:  
«Здравствуйте,  
Александр Блок.  
Лафа футуристам,  
фрак старья  
разлазится  
каждым швом».  
Блок посмотрел —

костры горят —  
«Очень хорошо».  
Кругом  
тонула  
Россия Блока...  
Незнакомки,  
дымки севера  
шли  
на дно,  
как идут  
обломки  
и жестянки  
консервов.  
И сразу  
лицо  
скупее менял,  
мрачнее,  
чем смерть на свадьбе:  
«пишут...  
из деревни...  
сожгли...  
у меня...  
библиотеку в усадьбе».  
Уставился Блок —  
и Блокова тень  
глазеет,  
на стенке привстав...  
будто  
оба

ждут по воде  
шагающего Христа.



СРЕДА, 26 ВЫСТУПИТ **ВЛАДИМИР** ЗАЛ ГОС. КА. **КАПЕЛЛЫ**

# МАЯКОВСКИЙ

1. Искать работы.

2. Воск.

3. Слова Дмитрия Андреевича.

4. Работа моя.

5. Искать работу.

6. Искать работу.

7. Искать работу.

8. Искать работу.

9. Искать работу.

10. Искать работу.

11. Искать работу.

12. Искать работу.

13. Искать работу.

14. Искать работу.

15. Искать работу.

16. Искать работу.

17. Искать работу.

18. Искать работу.

19. Искать работу.

20. Искать работу.

1. Искать работу.

2. Искать работу.

3. Искать работу.

4. Искать работу.

5. Искать работу.

6. Искать работу.

7. Искать работу.

8. Искать работу.

9. Искать работу.

10. Искать работу.

11. Искать работу.

12. Искать работу.

13. Искать работу.

14. Искать работу.

15. Искать работу.

16. Искать работу.

17. Искать работу.

18. Искать работу.

19. Искать работу.

20. Искать работу.

**ОТВЕТ НА ЗАПИСКИ И ВОПРОСЫ.**

Но Блоку  
Христос  
являться не стал.  
У Блока  
тоска у глаз.  
Живые,  
с песней  
вместо Христа,  
люди  
из-за угла...

## 13

Двенадцать  
квадратных аршин жилья.  
Четверо  
в помещении —  
Лиля,  
Ося,  
я  
и собака  
Щеник.  
Шапчонку  
взял  
оборванную  
и вытащил салазки.

– Куда идешь? —  
– В уборную  
иду.  
На Ярославский. —  
Как парус,  
шуба  
на весу,  
воняет  
козлом она.  
В санях  
полено везу,  
забрал  
забор разломанный.  
Полено —  
тушею,  
тверже камня.  
Как будто  
вспухшее  
колени  
великанье.  
Вхожу  
с бревном в обнимку.  
Запотел,  
вымок.  
Важно  
и чинно  
строгаю перочинным.  
Нож —  
ржа.

Режу.  
Радуюсь.  
В голове  
жар  
подымает градус.  
Зацветают луга,  
май  
поет  
в уши —  
это  
тянется угар  
из-под черных вьюшек.  
Четверо сосулек  
свернулись,  
уснули.  
Приходят  
люди,  
ходят,  
будят.  
Добудились еле —  
с углей  
угорели.  
В окно —  
сугроб.  
Глядит горбат.  
Не вымерзли покамест?  
Морозы  
в ночь  
идут, скрипят

снегами-сапогами.  
Небосвод,  
наклонившийся  
на комнату мою,  
морем  
заката  
облит.  
По розовой  
глади  
моря,  
на юг —  
тучи-корабли.  
За гладь,  
за розовую,  
бросать якоря,  
туда,  
где березовые  
дрова  
горят.  
Я  
много  
в теплых странах плутал.  
Но только  
в этой зиме  
понятной  
стала  
мне  
теплота  
любовей,

дружб  
и семей.  
Лишь лежа  
в такую вот гололедь,  
зубами  
вместе  
проляскав —  
поймешь:  
нельзя  
на людей жалеть  
ни одеяло,  
ни ласку.  
Землю,  
где воздух,  
как сладкий морс,  
бросишь  
и мчишь, колеса, —  
но землю,  
с которою  
вместе мерз,  
вовек  
разлюбить нельзя.



рассказывал  
тихий еврей,  
Павел Ильич Лавут:  
«Только что  
вышел я  
из дверей,  
вижу —  
они плывут...»  
Бегут  
по Севастополю  
к дымящим пароходам.  
За дeнь  
подметок стопали,  
как за́ год похода.  
На рейде  
транспорты  
и транспорточки,  
драки,  
крики,  
ругня,  
мотня, —  
бегут  
добровольцы,  
задрав порточки, —  
чистая публика  
и солдатня.  
У кого —  
канарейка,  
у кого —

роялина,  
кто со шкафом,  
кто  
с утюгом.  
Кадеты —  
на что уж  
люди лояльные —  
толкались локтями,  
крыли матюгом.  
Забыли приличия,  
бросили моду,  
кто —  
без юбки,  
а кто —  
без носков.  
Бьет  
мужчина  
даму  
в морду,  
солдат  
полковника  
сбивает с мостков.  
Наши наседали,  
крыли по трапам,  
кашей  
грузился  
последний эшелон.  
Хлопнув  
дверью,

сухой, как рапорт,  
из штаба  
опустевшего  
вышел он.

Глядя  
на́ ноги,  
шагом  
резким  
шел  
Врангель  
в черной черкеске.  
Город бросили.

На молу —  
го́ло.  
Лодка  
шестивёсельная  
стоит  
у мола.

И над белым тленом,  
как от пули падающий,  
на оба  
колена  
упал главнокомандующий.

Трижды  
землю  
поцеловавши,  
трижды  
город  
перекрестил.

Под пули  
в лодку прыгнул...  
– Ваше  
превосходительство,  
грести? —  
– Грести! —  
Убрали весло.  
Мотор  
заторкал.  
Пошла  
веселó  
к «Алмазу»  
моторка.  
Пулей  
пролетела  
штандартная яхта.  
А в транспортах-галошинах  
далеко,  
сзади,  
тащились  
оторванные  
от станка и пахот,  
узлов  
полтора  
накручивая за́ день.  
От родины  
в лапы турецкой полиции,  
к туркам в дыру,  
в Дарданеллы узкие,

плыли  
завтрашние галлиполийцы,  
плыли  
вчерашние русские.  
Впереди  
година на године.  
Каждого  
трясись,  
который в каске.

Будешь  
доить  
коров в Аргентине,  
будешь  
мереть  
по ямам африканским.

Чужие  
волны  
качали транспорты,  
флаги  
с полумесяцем  
бросались в очи,

и с транспортов  
за яхтой  
гналось —  
«Аспиды,

сперли казну  
и удрали, сволочи».

Уже

экипажам  
оберегаться  
пули  
шальной  
надо.

Два  
миноносца-американца  
стояли  
на рейде  
рядом.

Адмирал  
трубой обвел  
стреляющих  
гор  
край:

— Ол

райт. —

И ушли

в хвосте отступающих свор, —

орудия на город,

курс на Босфор.

В духовках солнца

горы

жаркое.

Воздух

цветы рассиропили.

Наши  
с песней  
идут от Джанкоя,  
сыпятся  
с Симферополя.  
Перебивая  
пуль разговор,  
знаменами  
бой  
овевая,  
с красными  
вместес  
пускается с гор  
песня  
боевая.  
Не гнулась,  
когда  
пулеметом крошило,  
вставала,  
бесстрашная,  
в дожде-свинце:  
«И с нами  
Ворошилов,  
первый красный офицер».  
Слушают  
пушки,  
морские ведьмы,  
у —  
ле —

петывая  
во винты во все,  
как сыпется  
с гор —  
«готовы умереть мы  
за Эс Эс Эс Эр!» —  
Начштаба  
морщит лоб.  
Пальцы  
корявой руки  
буквы  
непослушные гнут:  
«врангель  
опракинут  
в море.  
Пленных нет».  
Покамест —  
точка  
и телеграмме  
и войне.  
Вспомнили —  
недопахано,  
недожато у кого,  
у кого  
доменные  
топки да зóри.  
И пошли,  
отирая пот рукавом,  
расставив



на вышках  
дозоры.



Владимир Маяковский.  
1926 г.

# Эй!

Мокрая, будто ее облизали,  
толпа.  
Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,  
нельзя ли  
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,  
хотя бы закрыв глаза,  
забыть вас,  
ненужных, как насморк,  
и трезвых,  
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно  
во всей вселенной нету Капри.  
А Капри есть.  
От сияний цветочных  
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег  
забудем, качая тела в парокладах.  
Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,  
а я —  
вон у меня рука груба как.  
Быть может, в турнирах,  
быть может, в боях  
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,  
смотреть, растопырил ноги как.  
И вот врага, где предки,  
туда  
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,  
забыв привычку спанья,  
всю ночь напролет провести,  
глаза  
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетишься, как еж,  
с похмелья придя поутру,  
неверной любимой грозить, что убьешь  
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,  
крахмальные груди раскрасим под панцирь,  
загнем рукоять на столовом ноже,

и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,  
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,  
землю саму  
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,  
новые звезды придумай и выставь,  
чтоб, исступленно царапая крыши,  
в небо карабкались души артистов.

1916

# Левый марш (Матросам)

Разворачивайтесь в марше!  
Словесной не место кляузе.  
Тише, ораторы!  
Ваше  
слово,  
товарищ маузер.  
Довольно жить законом,  
данным Адамом и Евой.  
Клячу историю загоним.  
Левой!  
Левой!  
Левой!

Эй, синеблузые!  
Рейте!  
За океаны!  
Или  
у броненосцев на рейде  
ступлены острые кили?!  
Пусть,  
оскалясь короной,  
вздымает британский лев вой.  
Коммуне не быть покоренной.

Левой!  
Левой!  
Левой!

Там  
за горами го́ря  
солнечный край непочатый.  
За голод,  
за мора море  
шаг миллионный печатай!  
Пусть бандой окружат на́нятой,  
стальной изливаются ле́евой, —  
России не быть под Антантой.  
Левой!  
Левой!  
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?  
В старое ль станем пялиться?  
Крепи  
у мира на горле  
пролетариата пальцы!  
Грудью вперед бравой!  
Флагами небо оклеивай!  
Кто там шагает правой?  
Левой!  
Левой!  
Левой!

1918

# Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.  
Пели будто:  
– Гриб.  
Грабь.  
Гроб.  
Груб. —  
Ветром опита,  
льдом обута,  
улица скользила.  
Лошадь на круп  
грохнулась,  
и сразу  
за зевакой зевака,  
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,  
сгрудились,  
смех зазвенел и зазвякал:  
– Лошадь упала!  
– Упала лошадь! —  
Смеялся Кузнецкий.  
Лишь один я  
голос свой не вмешивал в вой ему.  
Подошел  
и вижу  
глаза лошадиные...



Улица опрокинулась,  
течет по-своему...  
Подошел и вижу —  
за каплицей каплица  
по морде катится,  
прячется в шерсти...

И какая-то общая  
звериная тоска  
плеща вылилась из меня  
и расплылась в шелесте.  
«Лошадь, не надо.  
Лошадь, слушайте —  
чего вы думаете, что вы их плоше?  
Деточка,  
все мы немножко лошади,  
каждый из нас по-своему лошадь».  
Может быть,  
— старая —  
и не нуждалась в няньке,  
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,  
только  
лошадь  
рванулась,  
встала на ноги,  
ржанула  
и пошла.  
Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.  
Пришла веселая,  
стала в стойло.  
И всё ей казалось —  
она жеребенок,  
и стоило жить,  
и работать стоило.

1918

# Крым

Хожу,  
гляжу в окно ли я —  
цветы  
да небо синее,  
то в нос тебе магнолия,  
то в глаз тебе  
глициния.

На молоко  
сменил  
чай  
в сиянье  
лунных чар.  
И днем  
и ночью  
на Чаир  
вода  
бежит, рыча.

Под страшной  
стражей  
волн-борцов  
глубины вод гноят  
повыброшенных

из дворцов  
тритонов и наяд.

А во дворцах  
другая жизнь:  
насытись  
водной блажью,  
иди, рабочий,  
и ложись  
в кровать  
великокняжью.  
Пылают горы-горны,  
и море синемлузится.  
Людей  
ремонт ускоренный  
в огромной  
крымской кузнице.

1927

# Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»

Перья-облака,  
закат расканарейте!  
Опускайся,  
южной ночи гнет!  
Пара  
пароходов  
говорит на рейде:  
то один моргнет,  
а то  
другой моргнет.  
Что сигналижат?  
Напрягаю я  
морщины лба.  
Красный раз...  
угаснет,  
и зеленый...  
Может быть,  
любовная мольба.  
Может быть,  
ревнует разозленный.  
Может, просит:

– «Красная Абхазия»!  
Говорит  
«Советский Дагестан».  
Я устал,  
один по морю лазая,  
подойди сюда  
и рядом стань. —  
Но в ответ  
коварная  
она:  
– Как-нибудь  
один  
живи и грейся.  
Я  
теперь  
по мачты влюблена  
в серый «Коминтерн»,  
трехтрубный крейсер.  
– Все вы,  
бабы,  
трясогузки и каналы...  
Что ей крейсер,  
дылда и пачкун? —  
Поскулил  
и снова засигналил:  
– Кто-нибудь,  
пришлите табачку!..  
Скучно здесь,  
нехорошо

и мокро.  
Здесь  
от скуки  
отсыреет и броня... —  
Дремлет мир,  
на Черноморский округ  
синь-слезищу  
морем оброня.

1926

# Стихи о советском паспорте

Я волком бы  
выгрыз бюрократизм.  
К мандатам  
почтения нету.  
К любым  
чертям с матерями  
катись  
любая бумажка.  
Но эту...  
По длинному фронту  
купе  
и кают  
чиновник  
учтивый движется.  
Сдают паспорта,  
и я  
сдаю  
мою  
пурпурную книжицу.  
К одним паспортам —  
улыбка у рта.  
К другим —  
отношение плёвое.  
С почтеньем



берут, например,  
паспорта  
с двуспальным  
английским лёвою.  
Глазами  
доброто дядю выев,  
не переставая  
кланяться,  
берут,  
как будто берут чаевые,  
паспорт  
американца.  
На польский —  
глядят,  
как в афишу коза.  
На польский —  
выпяливают глаза  
в тугой  
полицейской слонóвости —  
откуда, мол,  
и что это за  
географические новости?  
И не повернув  
голови кочан  
и чувств  
никаких  
не изведав,  
берут,  
не моргнув,

паспорта датчан  
и разных  
прочих  
шведов.  
И вдруг,  
как будто  
ожогом,  
рот  
скривило  
господину.  
Это  
господин чиновник  
берет  
мою  
краснокожую паспортину.  
Берет —  
как бомбу,  
берет —  
как ежа,  
как бритву  
обоюдоострую,  
берет,  
как гремучую  
в 20 жал  
змею  
двухметроворостую.  
Моргнул  
многозначаще  
глаз носильщика,

хоть вещи  
снесет задаром вам.  
Жандарм  
вопросительно  
смотрит на сыщика,  
сыщик  
на жандарма.  
С каким наслаждением  
жандармской кастой  
я был бы  
исхлестан и распят  
за то,  
что в руках у меня  
молоткастый,  
серпастый  
советский паспорт.  
Я волком бы  
выгрыз  
бюрократизм.  
К мандатам  
почтения нету.  
К любым  
чертям с матерями  
катись  
любая бумажка.  
Но эту...  
Я  
достаю  
из широких штанин

дубликатом  
бесценного груза.  
Читайте,  
завидуйте,  
я —  
гражданин  
Советского Союза.

1929

# Товарищу Нетте – пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.  
Не загробный вздор.  
В порт,  
горящий,  
как расплавленное лето,  
разворачивался  
и входил  
товарищ «Теодор  
Нетте».  
Это – он.  
Я узнаю его.  
В блюдечках-очках спасательных кругов.  
– Здравствуй, Нетте!  
Как я рад, что ты живой  
дымной жизнью труб,  
канатов  
и крюков.  
Подойди сюда!  
Тебе не мелко?  
От Батума,  
чай, котлами покипел...  
Помнишь, Нетте, —  
в бытность человеком

ты пивал чай  
со мною в дипкупе?  
Медлил ты.  
Захрапывали сони.  
Глаз  
кося  
в печати сургуча,  
напролет  
болтал о Ромке Якобсоне  
и смешно потел,  
стихи уча.  
Засыпал к утру.  
Курок  
аж палец свел...  
Суньтесе —  
кому охота!  
Думал ли,  
что через год всего  
встречусь я  
с тобою —  
с пароходом.  
За кормой лунища.  
Ну и здóрово!  
Залегла,  
просторы нáдвое порвав.  
Будто нáвек  
за собой  
из битвы коридоровой  
тянешь след героя,

светел и кровав.  
В коммунизм из книжки  
верят средне.  
«Мало ли,  
что можно  
в книжке намолоть!»  
А такое —  
оживит внезапно «бредни»  
и покажет  
коммунизма естество и плоть.  
Мы живем,  
зажатые  
железной клятвой.  
За нее —  
на крест,  
и пулею чешите:  
это —  
чтобы в мире  
без России,  
без Латвий,  
жить единым  
человечьим общежитьем.  
В наших жилах —  
кровь, а не водица.  
Мы идем  
сквозь револьверный лай,  
чтобы,  
умирая,  
воплотиться

в пароходы,  
в строчки  
и в другие долгие дела.  
Мне бы жить и жить,  
сквозь годы мчась.  
Но в конце хочу —  
других желаний нету —  
встретить я хочу  
мой смертный час  
так,  
как встретил смерть  
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта





В. Маяковский. 1918 г.  
Кинокадр



Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это

сердце всего. Если оно прекратит работу все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает оно не может не проявляться в этом во всем.<...> А любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» – только **свободным** соревнованием со всем миром.

*Владимир Маяковский.*

*Из неотправленного письма*

*к Л. Ю. Брик от 1—27 февраля 1923 г.*

# Лиличка!

## (Вместо письма)

Дым табачный воздух выел.  
Комната —  
глава в крученыховском аде.  
Вспомни —  
за этим окном  
впервые  
руки твои, исступленный, гладил.  
Сегодня сидишь вот,  
сердце в железе.  
День еще —  
выгонишь,  
может быть, изругав.  
В мутной передней долго не влезет  
сломанная дрожью рука в рукав.  
Выбегу,  
тело в улицу брошу я.  
Дикий,  
обезумлюсь,  
отчаяньем иссецась.  
Не надо этого,  
дорогая,  
хорошая,  
дай простимся сейчас.



Рисунок В.В. Маяковского.  
Портрет Л.Ю. Брик. 1916 г.

Все равно  
любовь моя —  
тяжкая гиря ведь —

висит на тебе,  
куда ни бежала б.  
Дай в последнем крике вырветь  
горечь обиженных жалоб.  
Если быка трудом умóрят —  
он уйдет,  
разляжется в холодных водах.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету моря,  
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.  
Захочет покоя уставший слон —  
царственный ляжет в опожаренном песке.  
Кроме любви твоей,  
мне  
нету солнца,  
а я и не знаю, где ты и с кем.  
Если б так поэта измучила,  
он  
любимую на деньги б и славу выменял,  
а мне  
ни один не радостен звон,  
кроме звона твоего любимого имени.  
И в пролет не брошусь,  
и не выпью яда,  
и курок не смогу над виском нажать.  
Надо мною,  
кроме твоего взгляда,  
не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,  
что тебя короновал,  
что душу цветущую любовью выжег,  
и суетных дней взметенный карнавал  
растреплет страницы моих книжек...  
Слов моих сухие листья ли  
заставят остановиться,  
жадно дыша?  
Дай хоть  
последней нежностью выстелить  
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

# Себе, любимому, посвящает эти строки автор

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю – богу богово».

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если б был я

маленький,

как Великий океан, —

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,  
как Дант  
или Петрарка!  
Душу к одной зажечь!  
Стихами велеть истлеть ей!  
И слова  
и любовь моя —  
триумфальная арка:  
пышно,  
бесследно пройдут сквозь нее  
любовницы всех столетий.

О, если б был я  
тихий,  
как гром, —  
ныл бы,  
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.  
Я если всей его мощью  
выреву голос огромный —  
кометы заломят горящие руки,  
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —  
о, если б был я  
тусклый,  
как солнце!  
Очень мне надо  
сияньем моим поить



земли отощавшее лонце!

Пройду,  
любовищу мою волоча.  
В какой ночи,  
бредовой,  
недужной,  
какими Голиафами я зачѣт —  
такой большой  
и такой ненужный?

1916

# Флейта-позвоночник

## Пролог

За всех вас,  
которые нравились или нравятся,  
хранимых иконами у души в пещере,  
как чашу вина в застольной здравнице,  
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —  
не поставить ли лучше  
точку пули в своем конце.  
Сегодня я  
на всякий случай  
даю прощальный концерт.

Память!  
Собери у мозга в зале  
любимых неисчерпаемые очереди.  
Смех из глаз в глаза лей.  
Былыми свадьбами ночь ряди.  
Из тела в тело веселье лейте.  
Пусть не забудется ночь никем.  
Я сегодня буду играть на флейте.

На собственном позвоночнике.

# 1

Версты улиц взмахами шагов мну.  
Куда уйду я, этот ад тая!  
Какому небесному Гофману  
выдумалась ты, проклятая?!  
Буре веселья улицы узки.  
Праздник нарядных черпал и черпал.  
Думаю.  
Мысли, крови сгустки,  
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,  
чудотворцу всего, что празднично,  
самому на праздник выйти не с кем.  
Возьму сейчас и грохнусь навзничь  
и голову выможжу каменным Невским!  
Вот я богохулил.  
Орал, что бога нет,  
а бог такую из пекловых глубин,  
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,  
вывел и велел:  
люби!

Бог доволен.

Под небом в круче  
измученный человек одичал и вымер.

Бог потирает ладони ручек.

Думает бог:

погоди, Владимир!

Это ему, ему же,

чтоб не догадался, кто́ ты,

выдумалось дать тебе настоящего мужа

и на рояль положить человечьи ноты.

Если вдруг подкрасться к двери спáленной,

перекрестить над вами стёганье одеялово,

знаю —

запахнет шерстью пáленной,

и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего

в ужасе, что тебя любить увели,

метался

и крики в строчки выгранивал,

уже наполовину сумасшедший ювелир.

В карты б играть!

В вино

выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!

Не хочу!

Все равно

я знаю,

я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,  
боже,  
боже мой,  
если звезд ковер тобою выткан,  
если этой боли,  
ежедневно множимой,  
тобой ниспослана, господи, пытка,  
судейскую цепь надень.  
Жди моего визита.

Я аккуратный,  
не замедлю ни на день.  
Слушай,  
Всевышний инквизитор!  
Рот зажму.  
Крик ни один им  
не выпущу из искусанных губ я.  
Привяжи меня к кометам, как к хвостам  
лошадиным,  
и вымчи,  
рвя о звездные зубья.  
Или вот что:  
когда душа моя выселится,  
выйдет на суд твой,  
выхмурясь тупенько,  
ты,  
Млечный Путь перекинув виселицей,

возьми и вздерни меня, преступника.  
Делай что хочешь.  
Хочешь, четвертуй.  
Я сам тебе, праведный, руки вымою.

Только —  
слышишь! —  
убери проклятую ту,  
которую сделал моей любимую!

Версты улиц взмахами шагов мну.  
Куда я денусь, этот ад тая!  
Какому небесному Гофману  
выдумалась ты, проклятая?!

## 2

И небо,  
в дымах забывшее, что голубо́,  
и тучи, ободранные беженцы точно,  
вызарю в мою последнюю любовь,  
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев  
скопа  
забывших о доме и уюте.

Люди,  
слушайте!  
Вылезьте из окопов.  
После довоюете.

Даже если,  
от крови качающийся, как Бахус,  
пьяный бой идет —  
слова любви и тогда не ветхи.  
Милые немцы!  
Я знаю,  
на губах у вас  
гётевская Гретхен.

Француз,  
улыбаясь, на штыке мрет,  
с улыбкой разбивается подстреленный  
авиатор,  
если вспомнят  
в поцелуе рот  
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,  
которую столетия выжуют.  
Сегодня к новым ногам лягте!  
Тебя пою,  
накрашенную, рыжую.

Может быть, от дней этих,

жутких, как штыков острия,  
когда столетия выбелят бороду,  
останемся только  
ты  
и я,  
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за́ море отдана,  
спрячешься у ночи в норе —  
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона  
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,  
где львы начеку, —  
тебе  
под пылью, ветром рваной,  
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,  
смотришь —  
тореадор хорош как!  
И вдруг я  
ревность метну в ложи  
мрущим глазом быка.

Вынесешь на́ мост шаг рассеянный —  
думать,  
хорошо внизу бы.  
Это я



под мостом разлился Сеной,  
зову,  
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков  
Стрелку или Сокольники.  
Это я, взобравшись туда высоко,  
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,  
понадоблюсь им я —  
велят:  
себя на войне убей!  
Последним будет  
твое имя,  
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?  
Святой Еленой?  
Буре жизни оседлав валы,  
я – равный кандидат  
и на царя вселенной  
и на  
кандалы.

Быть царем назначено мне —  
твое личико  
на солнечном золоте моих монет  
велю народу:

вычекань!

А там,  
где тундрой мир вылинял,  
где с северным ветром ведет река торги, —  
на цепь нацарапаю имя Лилино  
и цепь исцелю во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,  
выщетинившиеся,  
звери точно!

Это, может быть,  
последняя в мире любовь  
вызарилась румянцем чахоточного.

### 3

Забуду год, день, число.  
Запрусь одинокий с листом бумаги я.  
Творишь, просветленных страданием слов  
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,  
почувствовал —  
в доме неладно.  
Ты что-то таила в шелковом платье,

и ширился в воздухе запах ладана.  
Рада?  
Холодное  
«очень».  
Смятением разбита разума ограда.  
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,  
все равно  
не спрячешь трупа.  
Страшное слово на голову лавы!

Все равно  
твой каждый мускул  
как в рупор  
трубит:  
умерла, умерла, умерла!  
Нет,  
ответь.  
Не лги!  
(Как я такой уйду назад?)  
Ямами двух могил  
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.  
Нету дна там.  
Кажется,  
рухну с помоста дней.  
Я душу над пропастью натянул канатом,

жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,  
любовь его износила уже.  
Скуку угадываю по стольким признакам.  
Вымолоди себя в моей душе.  
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,  
каждый за женщину платит.  
Ничего,  
если пока  
тебя вместо шика парижских платьев  
одену в дым табака.

Любовь мою,  
как апостол во время оно,  
по тысяче тысяч разнесу дорог.  
Тебе в веках уготована корона,  
а в короне слова мои —  
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми  
завершали победу Пиррову,  
я поступью гения мозг твой выгромил.  
Напрасно.  
Тебя не вырву.  
Радуйся,  
радуйся,

ты доконала!  
Теперь  
такая тоска,  
что только б добежать до канала  
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.  
Как ты груба ими.  
Прикоснулся и остыл.  
Будто целую покаянными губами  
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали  
двери.  
Вошел он,  
весельем улиц орошен.  
Я  
как надвое раскололся в вопле.  
Крикнул ему:  
«Хорошо!  
Уйду!

Хорошо!  
Твоя останется.  
Тряпок нашэй ей,  
робкие крылья в шелках зажирели б.  
Смотри, не уплыла б.  
Камнем на шее  
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта  
ночь!  
Отчаянье стягивал туже и туже сам.  
От плача моего и хохота  
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,  
глазами вызарила ты на ковре его,  
будто вымечтал какой-то новый Бялик  
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке  
перед той, которую отдал,  
коленипреклоненный выник.  
Король Альберт,  
все города  
отдавший,  
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!  
Весеньтесь, жизни всех стихий!  
Я хочу одной отравы —  
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,  
всего его лишив,  
вымучившая душу в бреде мою,  
прими мой дар, дорогая,

больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.

Творишь,

распятью равная магия.

Видите – гвоздями слов

прибит к бумаге я.

1915



Володя не просто влюбился в меня – он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально <...>

Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о «треугольнике», «любви втроем» и т. п. совершенно не похожи на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше чем брата, больше чем мужа, больше чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. <...> Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот: возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Ося говорит,

что для него Володя не человек, а событие.

*Л. Ю. Брик. «Как было дело»*



Л.Ю. Брик.  
Конец 20-х г.



# Люблю

## (Отрывок из поэмы)

Флоты – и то стекаются в гавани.

Поезд – и то к вокзалу гонит.

Ну, а меня к тебе и подавней  
– я же люблю! —

тянет и клонит.

Скупой спускается пушкинский рыцарь  
подвалом своим любоваться и рыться.

Так я

к тебе возвращаюсь, любимая.

Мое это сердце,  
любуюсь моим я.

Домой возвращаетесь радостно.

Грязь вы

с себя соскребаете, бреясь и моясь.

Так я

к тебе возвращаюсь, —

разве,

к тебе идя,

не иду домой я?!

Земных принимает земное лоно.

К конечной мы возвращаемся цели.

Так я  
к тебе  
тянусь неуклонно,  
еле расстались,  
развиделись еле.

## Вывод

Не смоят любовь  
ни ссоры,  
ни версты.  
Продумана,  
выверена,  
проверена.  
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,  
клянусь —  
люблю  
неизменно и верно!  
1922



...между Маяковским и ближайшими окружавшими его людьми была серьезная принципиальная раз-

молвка. <...>

Смертельная схватка с бытом, в котором ценят человека не потому, для чего и как он делает, а лишь потому, сколько дохода приносит ему его дело, знаменитый вопрос американских деловиков: «Делаешь деньги?», ухлопывание людьми всей своей жизни на устройство личного благополучия – вот главное, против чего направлена поэма, вот коэффициент ее личного сюжетного построения. Это следует иметь в виду при всяком отводе в сторону ее любовной лирической мотивировки.

*Из статьи Николая Асеева о поэме «Про это»*



О.М. Брик, Л.Ю. Брик, В.В. Маяковский.  
1929 г.

# Про что – про это? (Из поэмы «Про это»)

В этой теме,  
и личной  
и мелкой,  
перепетой не раз  
и не пять,  
я кружил поэтической белкой  
и хочу кружиться опять.  
Эта тема  
сейчас  
и молитвой у Будды  
и у негра вострит на хозяев нож.  
Если Марс,  
и на нем хоть один сердцелюдый,  
то и он  
сейчас  
скрипит  
про то ж.  
Эта тема придет,  
калеку за локти  
подтолкнет к бумаге,  
прикажет:  
– Скреби! —  
И калека

с бумаги  
срывается в клетоте,  
только строчками в солнце песня рябит.  
Эта тема придет,  
позвонится с кухни,  
повернется,  
сгинет шапчонкой гриба,  
и гигант  
постоит секунду  
и рухнет,  
под записочной рябью себя погребя.  
Эта тема придет,  
прикажет:  
— Истина! —  
Эта тема придет,  
велит:  
— Красота! —  
И пускай  
перекладиной кисти раскистены —  
только вальс под нос мурлычешь с креста.  
Эта тема азбуку тронет разбегом —  
уж на что б, казалось, книга ясна! —  
и становится  
— А —  
недоступней Казбека.  
Замутит,  
оттянет от хлеба и сна.  
Эта тема придет,  
вовек не износится,

только скажет:

– Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее,

и идешь знаменосцем,

красношелкий огонь над землей знамени.

Это хитрая тема!

Нырнет под события,

в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,

и как будто ярясь

– посмели забыть ее! —

затрясет;

посыпятся души из шкур.

Эта тема ко мне заявила гневная,

приказала:

– Подать

дней удила! —

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное

и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,

остальные оттерла

и одна

безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.

Молотобоец!

От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила, в темень

колотись – велела – строчками лбов.

Имя

этой

Тема:

...!



# Про это (Из поэмы)

## Вера

Пусть во что хотите жданыя удлинятся —  
вижу ясно,  
ясно до галлюцинаций.  
До того,  
что кажется —  
вот только с этой рифмой  
развяжись,  
и вбежишь  
по строчке  
в изумительную жизнь.  
Мне ли спрашивать —  
да эта ли?  
Да та ли?!  
Вижу,  
вижу ясно, до деталей.  
Воздух в воздух,  
будто камень в камень,  
недоступная для тленов и крошений,  
рассиявшись,  
выситя веками  
мастерская человеческих воскрешений.  
Вот он,

большелобый  
тихий химик,  
перед опытом наморщил лоб.  
Книга —  
«Вся земля», —  
выискивает имя.  
Век двадцатый.  
Воскресить кого б?  
— Маяковский вот...  
Поищем ярче лица —  
недостаточно поэт красив. —  
Крикну я  
вот с этой,  
с нынешней страницы:  
— Не листай страницы!  
Воскреси!

### **Надежда**

Сердце мне вложи!  
Кровищу —  
до последних жил.  
В череп мысль вдолби!  
Я свое, земное, не дожил,  
на земле  
свое не долюбил.  
Был я сажень ростом.  
А на что мне сажень?  
Для таких работ годна и тля.  
Перышком скрипел я, в комнатенку

всажен,  
вплющился очками в комнатный футляр.  
Что хотите, буду делать даром —  
чистить,  
мыть,  
стеречь,  
мотаться,  
месть.

Я могу служить у вас  
хотя б швейцаром.  
Швейцары у вас есть?  
Был я весел —  
толк веселым есть ли,  
если горе наше непролазно?  
Нынче  
обнажают зубы если,  
только чтоб хватить,  
чтоб  
лязгнуть.

Мало ль что бывает —  
тяжесть  
или горе...  
Позовите!  
Пригодится шутка дурья.  
Я шарадами гипербол,  
аллегорий  
буду развлекать,  
стихами балагурия.  
Я любил...

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть...

Живешь и болью дорожась.

Я зверье еще люблю —

у вас

зверинцы

есть?

Пустите к зверю в сторожа.

Я люблю зверье.

Увидишь собачонку —

тут у булочной одна —

сплошная плешь, —

из себя

и то готов достать печенку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь!

## **Любовь**

Может,

может быть,

когда-нибудь,

дорожкой зоологических аллей

и она —

она зверей любила —

тоже ступит в сад,

улыбаясь,

вот такая,

как на карточке в столе.

Она красивая —  
ее, наверно, воскресят.  
Ваш  
тридцатый век  
обгонит стаи  
сердце раздиравших мелочей.  
Нынче недолюбленное  
наверстаем  
звездностью бесчисленных ночей.  
Воскреси  
хотя б за то,  
что я  
поэтом  
ждал тебя,  
откинул будничную чушь!  
Воскреси меня  
хотя б за это!  
Воскреси —  
свое дожить хочу!  
Чтоб не было любви – служанки  
замужеств,  
похоти,  
хлебов.  
Постели прокляв,  
встав с лежанки,  
чтоб всей вселенной шла любовь.  
Чтоб день,  
который горем старящ,  
не христарадничать, моля.

Чтоб вся  
на первый крик:  
– Товарищ! —  
оборачивалась земля.  
Чтоб жить  
не в жертву дома дырам.  
Чтоб мог  
в родне  
отныне  
стать  
отец,  
по крайней мере, миром,  
землей, по крайней мере, – мать.

1923



– Ну, чем он тебе все-таки нравился?

– Что значит «чем»? Человек был совершенно необычайного остроумия, обаяния и колоссального сексапила. Что еще надо? Но он мне не «нравился», я его полюбила.

(Геннадий, листая книгу, читает «Письмо Татьяне». Татьяна Алексеевна вторит наизусть.)

– Это стихотворение было написано недели через две после первого, когда мы были уже на «ты».

– *«Пять часов, и с этих пор / стих людей дремучий бор, / вымер город заселенный. / Слышу лишь свисточный спор / поездов до Барселоны»*. Что это он тут метил в «пять часов»?

– Это ревность к Шаляпину: я попросила Маяковского приехать на монпарнасский вокзал, я провожала тетку, она уезжала с Шаляпиным в Барселону, а это значит, что я знаю Шаляпина и что Шаляпин в меня влюблен, он думал, что тогда все были влюблены в меня. У него была навязчивая идея. А тот и не смотрел в мою сторону, я для него была девчонка. У него дочери были моего возраста, я с ними ходила в синема. Маяковский потерял голову от ревности. <...>

– Таня, что это значит: «ты не думай, щуря глазки/ из-под выпрямленных дуг»?

– У всех брови растут дугой, а у меня вверх.

– *«И это / оскорбление на общий счет нанижем»*.

Почему оскорбление?

– Потому что я отказалась с ним ехать. Он и в первый раз хотел, чтобы я с ним уехала, тут же, на месте! Когда он говорит «иди ко мне, иди на перекресток» и т. д. – это он просто зовет меня вернуться с ним в Россию. Я его любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь недостаточно сильна, чтобы с ним

уехать. И я совершенно не уверена, что я не уехала – бы, – если б он приехал в третий раз. Я очень по нему тосковала. Я, может быть, и уехала бы... фифти-фифти. Да. В первый раз я ему сказала, что должна подождать, что это слишком быстро, я не могла сказать бабушке и дяде, который приложил невероятные усилия, чтобы меня вывезти: «Бац! Я возвращаюсь». Во второй раз мы с ним все обсудили. Он должен был снова приехать в октябре. Но вот в третий-то раз его и не выпустили.

*Из разговора Геннадия Шмакова с Татьяной Яковлевой, записанного на пленку и опубликованного В. Катаняном.*





Т.А. Яковлева

# Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви

Простите  
меня,  
товарищ Костров,  
с присущей  
душевной ширью,  
что часть  
на Париж отпущенных строф  
на лирику  
я  
растранжирю.  
Представьте:  
входит  
красавица в зал,  
в меха  
и бусы оправленная.  
Я  
эту красавицу взял  
и сказал:  
— правильно сказал  
или неправильно? —  
Я, товарищ, —  
из России,  
знаменит в своей стране я,

я видал  
девиц красивей,  
я видал  
девиц стройнее.  
Девушкам  
поэты любви.  
Я ж умен  
и голосист,  
заговариваю зубы —  
только  
слушать согласишься.  
Не поймать  
меня  
на дряни,  
на прохожей  
паре чувств.  
Я ж  
навек  
любовью ранен —  
еле-еле волочусь.  
Мне  
любовь  
не свадьбой мерить:  
разлюбила —  
уплыла.  
Мне, товарищ,  
в высшей мере  
наплевать  
на купола.

Что ж в подробности вдаваться,  
шутки бросьте-ка,  
мне ж, красавица,  
не двадцать, —  
тридцать...  
с хвостиком.

Любовь  
не в том,  
чтоб кипеть крутей,  
не в том,  
что жгут угольями,  
а в том,  
что встает за горами грудей  
над  
волосами-джунглями.

Любить —  
это значит:  
в глубь двора  
вбежать  
и до ночи грачьею,  
блестя топором,  
рубить дрова,  
силой  
своей  
играючи.

Любить —  
это с простынь,  
бессонницей  
рваных,

срываться,  
ревнуя к Копернику,  
его,  
а не мужа Марьи Ивановны,  
считая  
своим  
соперником.

Нам  
любовь  
не рай да кущи,  
нам  
любовь  
гудит про то,  
что опять  
в работу пущен  
сердца  
выставший мотор.

Вы  
к Москве  
порвали нить.  
Годы —  
расстояние.  
Как бы  
вам бы  
объяснить  
это состояние?

На земле  
огней – до неба...  
В синем небе

звезд —  
до черта.  
Если б я  
поэтом не́ был,  
я бы  
стал бы  
звездочетом.  
Подымает площадь шум,  
экипажи движутся,  
я хожу,  
стишки пишу  
в записную книжицу.  
Мчат  
авто  
по улице,  
а не свалят на́земь.  
Понимают  
умницы:  
человек —  
в экстазе.  
Сонм видений  
и идей  
полон  
до крышки.  
Тут бы  
и у медведей  
выросли бы крылышки.  
И вот  
с какой-то

грошовой столовой,  
когда  
докипело это,  
из зева  
до звезд  
взвивается слово  
золоторожденной кометой.  
Распластан  
хвост  
небесам на треть,  
блестит  
и горит оперенье его,  
чтоб двум влюбленным  
на звезды смотреть  
из ихней  
беседки сиреневой.  
Чтоб подымать,  
и вести,  
и влечь,  
которые глазом ослабли.  
Чтоб вражьи  
головы  
спиливать с плеч  
хвостатой  
сияющей саблей.  
Себя  
до последнего стука в груди,  
как на свиданье,  
простаивая,

прислушиваюсь:  
любовь загудит —  
человеческая,  
простая.  
Ураган,  
огонь,  
вода  
подступают в ропоте.  
Кто  
сумеет совладать?  
Можете?  
Попробуйте...

1928



# Письмо Татьяне Яковлевой

В поцелуе рук ли,  
губ ли,  
в дрожи тела  
близких мне  
красный  
цвет  
моих республик  
тоже  
должен  
пламенеть.  
Я не люблю  
парижскую любовь:  
любую самочку  
шелками разукрасьте,  
потягиваясь, задремлю,  
сказав —  
тубо —  
собакам  
озверевшей страсти.  
Ты одна мне  
ростом вровень,  
стань же рядом  
с бровью брови,  
дай

про этот  
важный вечер  
рассказать  
по-человечьи.  
Пять часов,  
и с этих пор  
стих  
людей  
дремучий бор,  
вымер  
город заселенный,  
слышу лишь  
свисточный спор  
поездов до Барселоны.  
В черном небе  
молний поступь,  
гром  
ругней  
в небесной драме, —  
не гроза,  
а это  
просто  
ревность двигает горами.  
Глупых слов  
не верь сырью,  
не пугайся  
этой тряски, —  
я взнуздаю,  
я смирю



Т.А. Яковлева.  
Париж, 1932 г.

чувства  
отпрысков дворянских.  
Страсти корь  
сойдет коростой,

но радость  
неиссыхаемая,  
буду долго,  
буду просто  
разговаривать стихами я.  
Ревность,  
жены,  
слезы...  
ну их! —  
вспухнут веки,  
впору Вию.  
Я не сам,  
а я  
ревную  
за Советскую Россию.  
Видел  
на плечах заплаты,  
их  
чахотка  
лижет вздохом.  
Что же,  
мы не виноваты —  
ста миллионам  
было плохо.  
Мы  
теперь  
к таким нежны —  
спортом  
выпрямишь не многих, —

Вы и нам  
в Москве нужны,  
не хватает  
длинноногих.  
Не тебе,  
в снега  
и в тиф  
шедшей  
этими ногами,  
здесь  
на ласки  
выдать их  
в ужины  
с нефтяниками.  
Ты не думай,  
щурясь просто  
из-под выпрямленных дуг.  
Иди сюда,  
иди на перекресток  
моих больших  
и неуклюжих рук.  
Не хочешь?  
Оставайся и зимуй,  
и это  
оскорбление  
на общий счет нанижем.  
Я все равно  
тебя  
когда-нибудь возьму —

одну  
или вдвоем с Парижем.

1928



Мы встречались часто.

По-прежнему я бывала у него на Лубянке.

Яншин<sup>3</sup> ничего не знал об этой квартире Маяковского.

Мы всячески скрывали ее существование.

Много бывали и втроем с Яншиным – в театральном клубе, в ресторанах. <...>

Тогда в нашу поездку в Петровско-Разумовское, на обратном пути, я услышала от него впервые слово «люблю».

Он много говорил о своем отношении ко мне, говорил, что несмотря на нашу близость он относится ко мне как к невесте.

После этого он иногда называл меня – невесточкой.  
<...>

Я вначале никак не могла понять семейной ситу-

---

<sup>3</sup> Муж В. В. Полонской.

ации Бриков и Маяковского. Они жили вместе такой дружной семьей, и мне было неясно, кто же из них является мужем Лили Юрьевны? Вначале, бывая у Бриков, я из-за этого чувствовала себя очень неловко.

Однажды Брики были в Ленинграде. Я была у Владимира Владимировича в Гендриковом во время их отъезда. Яншина тоже не было в Москве, и Владимир Владимирович очень уговаривал меня остаться ночевать.

– А если завтра утром придет Лиля Юрьевна? – спросила я. – Что она скажет, если увидит меня?

Владимир Владимирович ответил:

– Она скажет: «Живешь с Норочкой?.. Ну что ж. Одобряю».

И я почувствовала, что ему в какой-то мере грустно то обстоятельство, что Лиля Юрьевна так равнодушно относится к этому факту.

Показалось, что он еще любит ее, а это в свою очередь огорчило меня.

Впоследствии я поняла, что не совсем была тогда права. Маяковский замечательно относился к Лиле Юрьевне. В каком-то смысле она была и будет для него первой. Но любовь к ней (такого рода) по существу уже прошлое. <...>

Лиля Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично.

Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности.

Это было даже немного болезненно, потому что такой исчерпывающей предупредительности я нигде и никогда не встречала – ни тогда, ни потом.

Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лилю Юрьевну. Два раза хотел стреляться из-за нее, один раз он выстрелил себе в сердце, но была осечка.

Подробностей того, как он разошелся с Лилей Юрьевной, не сообщал.

У Маяковского в последний приезд за границу был роман с какой-то женщиной. Ее звали Татьяной. Очевидно, он ее очень любил. Когда Владимир Владимирович вернулся в СССР, он получил от нее письмо, в котором она сообщала ему, что вышла замуж за француза.

У меня создалось впечатление, что Лиля Юрьевна очень была вначале рада нашим отношениям, так как считала, что это отвлекает Владимира Владимировича от воспоминаний о Татьяне.

Да и вообще мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к его романам и даже им как-то покровительствовала, как, например, в случае со мной – в первый период.

Но если кто-нибудь начинал задевать его глубже, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для



Маяковского единственной, неповторимой.

*В. В. Полонская.*

*«Воспоминания о В. В. Маяковском»*



Вероника Витольдовна Полонская

# <Неоконченное>

## &lt; I &gt;

Любит? не любит? Я руки ломаю  
и пальцы  
разбрасываю разломавши  
так рвут загадав и пускают  
по маю  
венчики встречных ромашек  
пускай седины обнаруживает стрижка и бритье  
Пусть серебро годов вызванивает  
уймою  
надеюсь верую вовеки не придет  
ко мне позорное благоразумие

## &lt; II &gt;

Уже второй  
должно быть ты легла  
А может быть  
и у тебя такое

Я не спешу  
И молниями телеграмм  
мне незачем  
тебя  
будить и беспокоить

### **&lt; III &gt;**

море уходит вспять  
море уходит спать  
Как говорят инцидент исперчен  
любовная лодка разбилась о быт  
С тобой мы в расчете  
И не к чему перечень  
взаимных болей бед и обид

### **&lt; IV &gt;**

Уже второй должно быть ты легла  
В ночи Млечпуть серебряной Окою  
Я не спешу и молниями телеграмм  
Мне незачем тебя будить и беспокоить  
как говорят инцидент исперчен  
любовная лодка разбилась о быт

С тобой мы в расчете и не к чему перечень  
взаимных болей бед и обид  
Ты посмотри какая в мире тишь  
Ночь обложила небо звездной данью  
в такие вот часы встаешь и говоришь  
векам истории и мирозданию

## &lt; V &gt;

Я знаю силу слов я знаю слов набат  
Они не те которым рукоплещут ложи  
От слов таких срываются гроба  
шагать четверкою своих дубовых ножек  
Бывает выбросят не напечатав не издав  
Но слово мчится подтянув подпруги  
звенит века и подползают поезда  
лизать поэзии мозолистые руки  
Я знаю силу слов Глядится пустяком  
Опавшим лепестком под каблуками танца  
Но человек душой губами костяком

1928–1930



В.В. Маяковский. 1928 г.

# О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,  
им  
довольно воздали дани.  
Теперь  
поговорим  
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.  
Подернулась тиной советская мешанина.  
И вылезло  
из-за спины РСФСР  
мурло  
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,  
я вовсе не против мещанского сословия.  
Мещанам  
без различия классов и сословий  
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,  
с первого дня советского рождения

стеклись они,  
наскоро оперенья переменив,  
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,  
крепкие, как умывальники,  
живут и поныне  
тише воды.  
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером  
та или иная мразь,  
на жену,  
за пианином обучающуюся, глядя,  
говорит,  
от самовара разморясь:  
«Товарищ Надя!  
К празднику прибавка —  
24 тыщи.  
Тариф.  
Эх,  
и заведу я себе  
тихоокеанские галифища,  
чтоб из штанов  
выглядывать,  
как коралловый риф!»

А Надя:  
«И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!  
В чем  
сегодня  
буду фигурировать я  
на балу в Реввоенсовете?!»  
На стенке Маркс.  
Рамочка а́ла.  
На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка  
верещала  
оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...  
И вдруг  
разинул рот,  
да как заорет:  
«Опутали революцию обывательщины нити.  
Страшнее Врангеля обывательский быт.  
Скорее  
головы канарейкам сверните —  
чтоб коммунизм  
канарейками не был побит!»

1920–1921



# Прозаседавшиися

Чуть ночь превратится в рассвет,  
вижу каждый день я:  
кто в глав,  
кто в ком,  
кто в полит,  
кто в просвет,  
расходится народ в учрежденья.  
Обдают дождем дела бумажные,  
чуть войдешь в здание:  
отобрав с полсотни —  
самые важные! —  
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:  
«Не могут ли аудиенцию дать?  
Хожу со времени она». —  
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —  
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.  
Свет не мил.  
Опять:

«Через час велели прийти вам.

Заседают:  
покупка склянки чернил  
Губкооперативом».

Через час:  
ни секретаря,  
ни секретарши нет —  
го́ло!  
Все до 22-х лет  
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,  
на верхний этаж семиэтажного дома.  
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —  
«На заседании  
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,  
на заседание  
врываюсь лавиной,  
дикие проклятья доро́гой изрыгая.  
И вижу:  
сидят людей половины.  
О дьявольщина!  
Где же половина другая?  
«Зарезали!  
Убили!»  
Мечусь, оря́.  
От страшной картины свихнулся разум.

И слышу  
спокойнейший голосок секретаря:  
«Оне на двух заседаниях сразу.

В день  
заседаний на двадцать  
надо поспеть нам.  
Поневоле приходится раздвояться.  
До пояса здесь,  
а остальное  
там».

С волнением не уснешь.  
Утро раннее.  
Мечтой встречаю рассвет ранний:  
«О, хотя бы  
еще  
одно заседание  
относительно искоренения всех заседаний!»

# Товарищ Иванов

Товарищ Иванов —  
мужчина крепкий,  
в штаты врос  
покрепше репки.  
Сидит  
бессменно  
у стула в оправе,  
придерживаясь  
на службе  
следующих правил.  
Подходит к телефону —  
достоинство  
складкой.  
— Кто спрашивает?  
— Товарищ тот! —  
И сразу  
рот  
в улыбке сладкой —  
как будто  
у него не рот, а торт.  
Когда  
начальство  
рассказывает анекдот,  
такой,

от которого  
покраснел бы и дуб, —  
Иванов смеется,  
смеется, как никто,  
хотя  
от флюса  
ноет зуб.  
Спросишь мнение —  
придет в смятеньице,  
деликатно  
отложит  
до дня  
до следующего,  
а к следующему  
узнаете  
мненьице —  
уважаемого  
товарища заведующего.  
Начальство  
одно  
смахнут, как пыльцу...  
Какое  
ему,  
Иванову,  
дело?  
Он служит  
так же  
другому лицу,  
его печенке,

улыбке,  
телу.  
Напялит  
на себя  
начальственную маску,  
начальственные привычки,  
начальственный  
вид.  
Начальство ласковое —  
и он  
ласков.  
Начальство грубое —  
и он грубит.  
Увидя безобразие,  
не протестует впустую.  
Протест  
замирает  
в зубах тугих.  
— Пускай, мол,  
первыми  
другие протестуют.  
Что я, в самом деле,  
лучше других? —  
Тот —  
уволен.  
Этот —  
сокращен.  
Бессменно  
одно

Ивановье рыльце.  
Везде  
и всюду  
пролезет он,  
подмыленный  
скользким  
подхалимским  
мыльцем.  
Впрочем,  
написанное  
ни для кого не ново —  
разве нет  
у вас  
такого Иванова?  
Кричу  
благим  
(а не просто) матом,  
глядя  
на подобные истории:  
— Где я?  
В лонах красных наркоматов  
или  
в дооктябрьской консистории?!

# Столп

Товарищ Попов  
чуть-чуть не от плуга.  
Чуть  
не от станка  
и сохи.  
Он —  
даже партиец,  
но он  
перепуган,  
брюзжит  
баритоном сухим:  
«Раскроешь газетину —  
в критике вся, —  
любая  
колеблется  
глыба.  
Кроют.  
Кого?  
Аж волосья́  
встают  
от фамилий  
дыбом.  
Ведь это —  
подрыв,



подкоп ведь это...

Критику

осторожненько

дóлжно вести.

А эти

критикуют,

не щадя авторитета,

ни чина,

ни стажа,

ни должности.

Критика

снизу —

это яд.

Сверху —

вот это лекарство!

Ну, можно ль

позволить

низам,

подряд,

всем! —

заниматься критиканством?!

О мерзостях

наших

трубим и поем.

Иди

и в газетах срамись я!

Ну, я ошибся...

Так в тресте ж,

в моем,

имеется  
ревизионная комиссия.  
Ведь можно ж,  
не задевая столпов,  
в кругу  
своих, братишек, —  
вызвать,  
сказать:  
– Товарищ Попов,  
орудуй...  
тово...  
потеше... —  
Пристали  
до тошноты,  
до рвот...  
Обмазывают  
кистью густою.  
Товарищи,  
ведь это же ж  
подорвет  
государственные устои!  
Кого критикуют? —  
вопит, возомня,  
аж голос  
визжит  
тенорком. —  
Вчера —  
Иванова,  
сегодня —

меня,  
а завтра —  
Совнарком!»  
Товарищ Попов,  
оставьте скулеж.  
Болтовня о подрывах —  
ложь!  
Мы всех зовем,  
чтоб в лоб,  
а не пятясь,  
критика  
дрянь  
косила.  
И это  
лучшее из доказательств  
нашей  
чистоты и силы.

1928

# Стихи о разнице вкусов

Лошадь  
сказала,  
взглянув на верблюда:  
«Какая  
гигантская  
лошадь-ублюдок».  
Верблюд же  
вскричал:  
«Да лошадь разве ты?!  
Ты  
просто-напросто —  
верблюд недоразвитый».  
И знал лишь  
бог седобородый,  
что это —  
животные  
разной породы.

1928

# Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе

Сапоги почистить – 1 000 000.  
Состояние!  
Раньше б дом купил —  
и даже неплохой.  
Привыкли к миллионам.  
Даже до луны расстояние  
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт  
писать один отчет.  
«Что это такое?» —  
спрашивает с тоскою  
машинистка.  
Ну, что отвечу ей?!  
Черт его знает, что это такое,  
если сзади  
у него  
тридцать семь нулей.  
Недавно уверяла одна дура,  
что у нее  
тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к таким числам,  
что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,  
если мы на митинге ревим,  
рамки арифметики, разумеется, ўзки —  
все разрешаем в масштабе мировом.  
В крайнем случае – масштаб общерусский.  
«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.  
«Чистка!» – во всероссийском масштабе.  
Кто-то  
даже,  
чтоб избежать переписки,  
предлагал —  
сквозь землю  
до Вашингтона кабель.

Иду.  
Мясницкая.  
Ночь глуха.  
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.  
Сзади с тележкой баба.  
С вещами  
на Ярославский  
хлюпает по ухабам.  
Сбивают ставшие в хвост на галоши;  
то грузовик обдаст,  
то лошадь.  
Балансируя

— четырехлетний навык! —  
тащусь меж канавищ,  
канав,  
канавок.

И то

— на лету вспоминая маму —

с размаху

у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочаемся с боку на́ бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбираясь с этажа на этаж,

сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружен,

но, натолкнувшись на эти низы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи  
на Мясницкой  
вопрос  
никто не решает в общемясницом масштабе?!

1921



# Я счастлив!

Граждане,  
у меня  
огромная радость.  
Разулыбьте  
сочувственные лица.  
Мне  
обязательно  
поделиться надо,  
стихами  
хотя бы  
поделиться.  
Я  
сегодня  
дышу как слон,  
походка  
моя  
легка,  
и ночь  
пронеслась,  
как чудесный сон,  
без единого  
кашля и плевка.  
Неизмеримо  
выросли

удовольствий дозы.

Дни осени —  
баней воняют,

а мне  
цветут,  
извините, —

розы,  
и я их,  
представьте,  
обоняю.

И мысли  
и рифмы  
покрасивели  
и особенные,  
аж вытаращит  
глаза  
редактор.

Стал вынослив  
и работоспособен,  
как лошадь  
или даже —  
трактор.

Бюджет  
и желудок  
абсолютно превосходен,  
укреплен  
и приведен в равновесие.

Стопроцентная  
экономия

на основном расходе —  
и поздоровел  
и прибавил в весе я.  
Как будто  
на язык  
за кусом кус  
кладут  
воздушнейшие торта —  
такой  
установился  
феерический вкус  
в благоуханных  
апартаментах  
рта.  
Голова  
снаружи  
всегда чиста,  
а теперь  
чиста и изнутри.  
В день  
придумывает  
не меньше листа,  
хоть Толстому  
ноздрю утри.  
Женщины  
окружили,  
платья испестря,  
все  
спрашивают

имя и отчество,  
я стал  
определенный  
весельчак и остряк —  
ну просто —  
душа общества.

Я  
порозовел  
и пополнил в лице,  
забыл  
и гриппы  
и кровать.

Граждане,  
вас  
интересует рецепт?  
Открыть?  
или...

не открывать?  
Граждане,  
вы  
утомились от жданья,  
готовы  
корить и крыть.

Не волнуйтесь,  
сообщаю:  
граждане —  
я  
сегодня —  
бросил курить.

1929



В.В. Маяковский в редакции газеты «Красная нива».

Москва, 1927 г.

# Из цикла «Париж»

## Еду

Билет —  
щелк.  
Щека —  
чмок.  
Свисток —  
и рванулись туда мы,  
куда,  
как сельди,  
в сети чулок  
плывут  
кругосветные дамы.  
Сегодня приедет —  
уродом-урод,  
а завтра —  
узнать посмейте-ка:  
в одно  
разубран  
и город и рот —  
помады,  
огней косметика.  
Веселых

тянет в эту вот даль.  
В Париже грустить?  
Едва ли!  
В Париже  
площадь  
и та Этуаль,  
а звезды —  
так сплошь этуали.  
Засвистывай,  
трись,  
врезайся и режь  
сквозь Льежи  
и об Брюссели.  
Но нож  
и Париж,  
и Брюссель,  
и Льеж —  
тому,  
кто, как я, обрусели.  
Сейчас бы  
в сани  
с ногами —  
в снегу,  
как в газетном листе б...  
Свисти,  
заноси снегами  
меня,  
прихерсонская степь...  
Вечер,

поле,  
огоньки,  
дальняя дорога, —  
сердце рвется от тоски,  
а в груди —  
тревога.

Эх, раз,  
еще раз,  
стих – в пляс.

Эх, раз,  
еще раз,  
рифм хряск.

Эх, раз,  
еще раз,  
еще много, много раз...

Люди  
разных стран и рас,  
копая порядков грядки,  
увидев,  
как я  
себя протряс,  
скажут:  
в лихорадке.





В.В. Маяковский. Париж, 1925 г.

# Город

Один Париж —  
адвокатов,  
казарм,  
другой —  
без казарм и без Эррио.  
Не оторвать  
от второго  
глаза —  
от этого города серого.  
Со стен обещают:  
«Un verre de Koto  
donne de l'énergie»<sup>4</sup>.  
Вином любви  
каким  
и кто  
мою взбудоражит жизнь?  
Может,  
критики  
знают лучше.  
Может,  
их  
и слушать надо.  
Но кому я, к черту, попутчик!

---

<sup>4</sup> Стакан Кото дает энергию (фр.).

Ни души  
не шагает  
рядом.  
Как раньше,  
свой  
раскачивай горб  
впереди  
поэтовых арб —  
неси,  
один,  
и радость,  
и скорбь,  
и прочий  
людской скарб.  
Мне скучно  
здесь  
одному  
впереди, —  
поэту  
не надо многого, —  
пусть  
только  
время  
скорей родит  
такого, как я,  
быстроногого.  
Мы рядом  
пойдем  
дорожной пыльцой.

Одно  
желанье  
пучит:  
мне скучно —  
желаю  
видеть в лицо,  
кому это  
я  
попутчик?!  
«Je suis un chameau»<sup>5</sup>,  
в плакате стоят  
литеры,  
каждая – фут.  
Совершенно верно:  
«je suis», —  
это  
«я»,  
а «chameau» – это  
«я верблюд».  
Лиловая туча,  
скорей нагнись,  
меня  
и Париж полей,  
чтоб только  
скорей  
зацвели огни  
длиной

---

<sup>5</sup> Я верблюд (фр.).

Елисейских полей.  
Во всё огонь —  
и небу в темь  
и в чернь промокшей пыли.  
В огне  
жуками  
всех систем  
жужжат  
автомобили.  
Горит вода,  
земля горит,  
горит  
асфальт  
до жжения,  
как будто  
зубрят  
фонари  
таблицу умножения.  
Площадь  
красивей  
и тысяч  
дам-болонок.  
Эта площадь  
оправдала б  
каждый город.  
Если б был я  
Вандомская колонна,  
я б женился

на Place de la Concorde<sup>6</sup>.

1925

---

<sup>6</sup> Площадь Согласия (фр.).

# Прощание (Кафе)

Обыкновенно  
мы говорим:  
все дороги  
приводят в Рим.  
Не так  
у монпарнасца.  
Готов поклясться.  
И Рем,  
и Ромул,  
и Ремул и Ром  
в «Ротонду» придут  
или в «Дом»<sup>7</sup>.  
В кафе  
идут  
по сотням дорог,  
плывут  
по бульварной реке.  
Вплываю и я:  
«Garçon,  
un grog

---

<sup>7</sup> Кафе на Монпарнасе.

american!»<sup>8</sup>

Сначала  
слова,  
и губы,  
и скулы  
кафейный гомон сливал.  
Но вот  
пошли  
вылупляться из гула  
и лепятся  
фразой  
слова.  
«Тут  
проходил  
Маяковский давеча,  
хромой —  
не видали рази?» —  
«А с кем он шел?» —  
«С Николай Николаичем». —  
«С каким?»  
«Да с великим князем!» —  
«С великом князем?  
Будет врать!  
Он кругл  
и лыс,  
как ладонь.  
Чекист он,

---

<sup>8</sup> Официант, грог по-американски! (фр.)



послан сюда  
взорвать...» —  
«Кого?» —  
«Буа-дю-Булонь<sup>9</sup>.  
Езжай, мол, Мишка...»  
Другой поправил:  
«Вы врете,  
противно слушать!  
Совсем и не Мишка он,  
а Павел.  
Бывало, сядем —  
Павлуша! —  
а тут же  
его супруга,  
княжна,  
брюнетка,  
лет под тридцать...» —  
«Чья?  
Маяковского?  
Он не женат».  
«Женат —  
и на императрице». —  
«На ком?  
Ее ж расстреляли...» —  
«И он  
поверил...  
Сделайте милость!

---

<sup>9</sup> Булонский лес (фр. – Bois du Boulogne).

Ее ж Маяковский спас  
за трильон!  
Она же ж  
омолодилась!»  
Благоразумный голос:  
«Да нет,  
вы врете —  
Маяковский – поэт». —  
«Ну, да, —  
вмешалось двое саврасов, —  
в конце  
семнадцатого года  
в Москве  
чекой конфискован Некрасов  
и весь  
Маяковскому отдан.  
Вы думаете —  
сам он?  
Сбондил до йот —  
весь стих,  
с запятыми,  
скраден.  
Достанет Некрасова  
и продает —  
червонцев по десять  
на день».  
Где вы,  
свахи?  
Подымись, Агафья!

Предлагается  
жених невиданный.  
Видано ль,  
чтоб человек  
с такою биографией  
был бы холост  
и старел невыданный?!  
Париж,  
тебе ль,  
столице столетий,  
к лицу  
эмигрантская нудь?  
Смахни  
за ушми  
эмигрантские сплетни.  
Провинция! —  
не продохнуть.  
Я вышел  
в раздумье —  
черт его знает!  
Отплюнулся —  
тьфу, напасть!  
Дыра  
в ушах  
не у всех сквозная —  
другому  
может запасть!  
Слушайте, читатели,  
когда прочтете,

что с Черчиллем  
Маяковский  
дружбу вертит  
или  
что женился я  
на кулиджевской тете,  
то, покорнейше прошу, —  
не верьте.

1925

# Испания

Ты – я думал —  
райский сад.  
Ложь  
подпивших бардов.  
Нет —  
живьем я вижу  
склад  
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».  
Из прилипших к скалам сёл  
опустясь с опаской,  
чистокровнейший осёл  
шпарит по-испански.  
Всё плебейство выбив вон,  
в шляпы влезла по́ нос.  
Стал  
простецкий  
«телефон»  
гордым  
«телефонос».  
Чернь волос  
в цветах горит.  
Щеки в шаль орамив,  
сотня с лишним  
сеньорит

машет веерами.  
От медуз  
воде синё.  
Глуби —  
вёрсты мера.  
Из товарищей  
«сеньор»  
стал  
и «кабальеро».  
Кастаньеты гонят сонь.  
Визги...  
пенье...  
страсти!  
А на что мне это все?  
Как собаке — здрасите!

1925

# Мелкая философия на глубоких местах

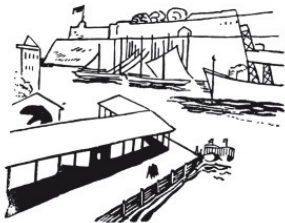
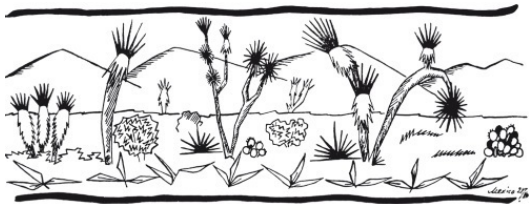
Превращусь  
не в Толстого, так в толстого, —  
ем,  
пишу,  
от жары балда.  
Кто над морем не философствовал?  
Вода.  
Вчера  
океан был злой,  
как черт,  
сегодня  
смиренней  
голубицы на яйцах.  
Какая разница!  
Все течет...  
Все меняется.  
Есть  
у воды  
своя пора:  
часы прилива,  
часы отлива.  
А у Стеклова  
вода

не сходила с пера.  
Несправедливо.  
Дохлая рыбка  
плывет одна.  
Висят  
плавнички,  
как подбитые крылышки.  
Плывет недели,  
и нет ей —  
ни дна,  
ни покрышки.  
Навстречу  
медленней, чем тело тюленье,  
пароход из Мексики,  
а мы—  
туда.  
Иначе и нельзя.  
Разделение  
труда.  
Это кит – говорят.  
Возможно и так.  
Вроде рыбьего Бедного —  
обхвата в три.  
Только у Демьяна усы наружу,  
а у кита  
внутри.  
Годы – чайки.  
Вылетят в ряд —  
и в воду —



брюшко рыбешкой пичкать.  
Скрылись чайки.  
В сущности говоря,  
где птички?  
Я родился,  
рос,  
кормили соскою, —  
жил,  
работал,  
стал староват...  
Вот и жизнь пройдет,  
как прошли Азорские  
острова.

*Атлантический океан,  
3 июля 1925 г.*



Рисунки В.В. Маяковского.  
Мексика, 1925 г.

# Тропики (Дорога Вера-Круц – Мехико-Сити)

Смотрю:  
вот это —  
тропики.  
Всю жизнь  
вдыхаю наново я.  
А поезд  
прет торопкий  
сквозь пальмы,  
сквозь банановые.  
Их силуэты-веники  
встают рисунком тошненьким:  
не то они – священники,  
не то они – художники.  
Аж сам  
не веришь факту:  
из всей бузы и вара  
встает  
растенье – кактус  
трубой от самовара.  
А птички в этой печке  
красивей всякой меры.

По смыслу —  
воробейчики,  
а видом —  
шантеклеры.  
Но прежде чем  
осмыслил лес  
и бред,  
и жар,  
и день я —  
и день,  
и лес исчез  
без вечера  
и без  
предупрежденья.  
Где горизонта борозда?!  
Все линии  
потеряны.  
Скажи,  
которая звезда  
и где  
глаза пантерины?  
Не счел бы  
лучший казначей  
звезды́  
тропических ночей,  
настолько  
ночи августа  
звездой набиты  
нагусто.

Смотрю:  
ни зги, ни тропки.  
Всю жизнь  
вдыхаю наново я.  
А поезд прет  
сквозь тропики,  
сквозь запахи  
банановые.

1926

# Мексика – Нью-йорк

Бежала  
Мексика  
от буферов  
горящим,  
сияющим бредом.  
И вот  
под мостом  
река или ров,  
делящая  
два Ларедо.  
Там доблести —  
скачут,  
коня загоня,  
в пятак  
попадают  
из кольца,  
и скачет конь,  
и брюхо коня  
о колкий кактус исколото.  
А здесь  
железо —  
не расшатать!  
Ни воли,  
ни жизни,

ни нерва вам!  
И сразу  
рябит  
тюрьма решета  
вам  
для знакомства  
для первого.  
По рельсам  
поезд сыпет,  
под рельсой  
шпалы сыпятся.  
И гладью  
Миссисипи  
под нами миссисипится.  
По бокам  
поезда  
не устанут сновать:  
или хвост мелькнет,  
или нос.  
На боках поездных  
страновеют слова:  
«Сан-Луи́с»,  
«Мичига́н»,  
«Иллино́йс»!  
Дальше, поезд,  
огнями расцветенный!  
Лез,  
обгоняет,  
храпит.

В Нью-Йорк несется  
«Твэ́нти сéнчери  
экспресс».  
Курьерский!  
Рапíд!  
Кругом дома,  
в этажи затеряв  
путей  
и проволок множь.  
Теряй шапчонку,  
глаза задеря,  
все равно —  
ничего не поймешь!

1926



# Бродвей

Асфальт – стекло.  
Иду и звеню.  
Леса и травинки —  
сбриты.  
На север  
с юга  
идут авеню,  
на запад с востока —  
стриты.  
А между —  
(куда их строитель завез!) —  
дома  
невозможной длины.  
Одни дома  
длиною до звезд,  
другие —  
длиной до луны.  
Янки  
подошвами шлепать  
ленив:  
простой  
и курьерский лифт.  
В 7 часов  
человечий прилив.

В 17 часов —  
отлив.  
Скрежещет механика,  
звон и гам,  
а люди  
немые в звоне.  
И лишь замедляют  
жевать чуингам,  
чтоб бросить:  
«Мек моней?»  
Мамаша  
грудь  
ребенку дала.  
Ребенок  
с каплями из носу,  
сосет  
как будто  
не грудь, а доллár —  
занят  
серьезным  
бизнесом.  
Работа окончена.  
Тело обвей  
в сплошной  
электрический ветер.  
Хочешь под землю —  
бери собвей,  
на небо —  
бери элевейтер.

Вагоны  
едут  
и дымам под рост,  
и в пятках  
домовых  
трутся,  
и вынесут  
хвост  
на Бруклинский мост,  
и спрячут  
в норы  
под Гудзон.  
Тебя ослепило,  
ты осовел.  
Но,  
как барабанная дробь,  
из тьмы  
по темени:  
«Кофе Максвёл  
гуд  
ту ди ласт дроп».  
А лампы  
как станут  
ночь копать,  
ну, я доложу вам —  
пламечко!  
Налево посмотришь —  
мамочка мать!  
Направо —

мать моя мамочка!  
Есть что поглядеть московской братве.  
И за́ день  
в конец не дойдут.  
Это Нью-Йорк.  
Это Бродвей.  
Гау ду ю ду!  
Я в восторге  
от Нью-Йорка города.  
Но  
кепчонку  
не сдерну с виска.  
У советских  
собственная гордость:  
на буржуев  
смотрим свысока.

6 августа 1925 г. Нью-Йорк

# Бруклинский мост

Издай, Кули́дж,  
радостный клич!  
На хорошее  
и мне не жалко слов.  
От похвал  
красней,  
как флага нашего  
материйка,  
хоть вы  
и разъюнайтед стетс  
оф  
Америка.  
Как в церковь  
идет  
помешавшийся верующий,  
как в скит  
удаляется,  
строг и прост, —  
так я  
в вечерней  
сереющей мерещи  
вхожу,  
смиранный, на Бру́клинский мост.  
Как в город

в сломанный  
прет победитель  
на пушках – жерлом  
жирафу под рост —  
так, пьяный славой,  
так жить в аппетите,  
влезаю,  
гордый,  
на Бруклинский мост.  
Как глупый художник  
в мадонну музея  
вонзает глаз свой,  
влюблен и остр,  
так я,  
с поднебесья,  
в звезды усеян,  
смотрю  
на Нью-Йорк  
сквозь Бруклинский  
мост.  
Нью-Йорк  
до вечера тяжек  
и душен,  
забыл,  
что тяжело ему  
и высоко,  
и только одни  
домовьи души  
встают

в прозрачном свечении окон.  
Здесь  
еле зудит  
элевейтеров зуд.  
И только  
по этому  
тихому зуду  
поймешь —  
поезда́  
с дребежжаньем ползут,  
как будто  
в буфет убирают посуду.  
Когда ж,  
казалось, с-под речки на́чатой  
развозит  
с фабрики  
сахар лавочник, —  
то  
под мостом проходящие мачты  
размером  
не больше размеров булавочных.  
Я горд  
вот этой  
стальной милей,  
живьем в ней  
мои видения встали —  
борьба  
за конструкции  
вместо стилей,

расчет суровый  
гаек  
и стали.  
Если  
придет  
окончание света —  
планету  
хаос  
разделает в лоск,  
и только  
один останется  
этот  
над пылью гибели вздыбленный мост,  
то,  
как из косточек,  
тоньше иголок,  
тучнеют  
в музеях стоящие  
ящеры,  
так  
с этим мостом  
столетий геолог  
сумел  
воссоздать бы  
дни настоящие.  
Он скажет:  
— Вот эта  
стальная лапа  
соединяла



моря и прерии,  
отсюда  
Европа  
рвалась на Запад,  
пустив  
по ветру  
индейские перья.  
Напомнит  
машину  
ребро вот это —  
сообразите,  
хватит рук ли,  
чтоб, став  
стальной ногой  
на Мангётен,  
к себе  
за губу  
притягивать Бруклин?  
По проводам  
электрической пряжи —  
я знаю —  
эпоха  
после пара —  
здесь  
люди  
уже  
орали по радио,  
здесь  
люди

уже  
взлетали по аэро.  
Здесь  
жизнь  
была  
одним – беззаботная,  
другим —  
голодный  
протяжный вой.  
Отсюда  
безработные  
в Гудзон  
кидались  
вниз головой.  
И дальше  
картина моя  
без заговоздки  
по струнам-канатам,  
аж звездам к ногам.  
Я вижу —  
здесь  
стоял Маяковский,  
стоял  
и стихи слагал по слогам. —  
Смотрю,  
как в поезд глядит эскимос,  
впиваюсь,  
как в ухо впивается клещ.  
Бруклинский мост —

да...

Это вещь!

1925

# Прощанье

В авто,  
последний франк разменяв.  
— В котором часу на Марсель? —  
Париж  
бежит,  
проводя меня,  
во всей  
невозможной красе.  
Подступай  
к глазам,  
разлуки жижя,  
сердце  
мне  
сантиментальностью расквась!  
Я хотел бы  
жить  
и умереть в Париже,  
если б не было  
такой земли —  
Москва.

1925



В.В. Маяковский.  
1929 г.

# Братья писатели

Очевидно, не привыкну  
сидеть в «Бристоле»,  
пить чай,  
построчно врать я, —  
опрокину стаканы,  
взлезу на столик.  
Слушайте,  
литературная братия!  
Сидите,  
глазенки в чайшко канув.  
Вытерся от строчения локоть плюшевый.  
Подымите глаза от недопитых стаканов.  
От косм освободите уши вы.

Вас,  
прилипших  
к стене,  
к обоям,  
милые,  
что вас со словом свело?  
А знаете,  
если не писал,  
разбоем  
занимался Франсуа Виллон.

Вам,  
берущим с опаской  
и перочинные ножи,  
красота великолепнейшего века вверена  
вам!  
Из чего писать вам?  
Сегодня  
жизнь  
в сто крат интересней  
у любого помощника присяжного  
поверенного.

Господа поэты,  
неужели не наскучили  
пажи,  
дворцы,  
любовь,  
сирени куст вам?  
Если  
такие, как вы,  
творцы —  
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.  
Пойду на биржу.  
Тугими бумажниками растопырю бока.  
Пьяной песней  
душу выржу

в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?

Мысль

одна под волосища вложена:

«Причесываться? Зачем же?!

На время не стоит труда,

а вечно

причесанным быть

невозможно».

1917



# Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче

*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст  
по Ярославской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал,  
в июль катилось лето,  
была жара,  
жара плыла —  
на даче было это.  
Пригорок Пушкино горбил  
Акуловой горою,  
а низ горы —  
деревней был,  
кривился крыш корою.  
А за деревнею —  
дыра,  
и в ту дыру, наверно,  
спускалось солнце каждый раз,  
медленно и верно.  
А завтра  
снова  
мир залить  
вставало солнце а́ло.

И день за днем  
ужасно злить  
меня  
вот это  
стало.

И так однажды разозлясь,  
что в страхе все поблекло,  
в упор я крикнул солнцу:  
«Слазь!  
довольно шляться в пекло!»  
Я крикнул солнцу:  
«Дармоед!  
занежен в облака ты,  
а тут – не знай ни зим, ни лет,  
сиди, рисуй плакаты!»  
Я крикнул солнцу:  
«Погоди!  
послушай, златолобо,  
чем так,  
без дела заходить,  
ко мне  
на чай зашло бы!»  
Что я наделал!  
Я погиб!  
Ко мне,  
по доброй воле,  
само,  
раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.  
Хочу испуг не показать —  
и ретируюсь задом.

Уже в саду его глаза.  
Уже проходит садом.  
В окошки,  
в двери,  
в щель войдя,  
валилась солнца масса,  
ввалилось;  
дух переведя,  
заговорило басом:  
«Гоню обратно я огни  
впервые с сотворенья.  
Ты звал меня?  
Чаи гони,  
гони, поэт, варенье!»  
Слеза из глаз у самого —  
жара с ума сводила,  
но я ему —  
на самовар:  
«Ну что ж,  
садись, светило!»  
Черт дернул дерзости мои  
орать ему, —  
сконфужен,  
я сел на уголок скамьи,  
боюсь – не вышло б хуже!

Но странная из солнца ясь  
струилась, —  
и степенность  
забыв,  
сизу, разговорясь  
с светилом постепенно.  
Про то,  
про это говорю,  
что-де заела Роста,  
а солнце:  
«Ладно,  
не горюй,  
смотри на вещи просто!  
А мне, ты думаешь,  
светить  
легко?

— Поди, попробуй! —  
А вот идешь —  
взялось идти,  
идешь — и светишь в оба!»  
Болтали так до темноты —  
до бывшей ночи то есть.  
Какая тьма уж тут?  
На «ты»  
мы с ним, совсем освоясь.  
И скоро,  
дружбы не тая,

бью по плечу его я.  
А солнце тоже:  
«Ты да я,  
нас, товарищ, двое!  
Пойдем, поэт,  
взорим,  
вспоем  
у мира в сером хламе.  
Я буду солнце лить свое,  
а ты – свое,  
стихами».

Стена теней,  
ночей тюрьма  
под солнц двустволкой пала.  
Стихов и света кутерьма —  
сияй во что попало!  
Устанет то,  
и хочет ночь  
прилечь,  
тупая сонница.  
Вдруг – я  
во всю светаю мочь —  
и снова день трезвонится.  
Светить всегда,  
светить везде,  
до дней последних донца,  
светить —  
и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой —  
и солнца!

1920

# Приказ по армии искусства

Канителят стариков бригады  
канитель одну и ту ж.  
Товарищи!  
На баррикады! —  
баррикады сердец и душ.  
Только тот коммунист истый,  
кто мосты к отступлению сжег.  
Довольно шагать, футуристы,  
в будущее прыжок!  
Паровоз построить мало —  
накрутил колес и утек.  
Если песнь не громит вокзала,  
то к чему переменный ток?  
Громоздите за звуком звук вы  
и вперед,  
попя и свища.  
Есть еще хорошие буквы:  
Эр,  
Ша,  
Ща.  
Это мало – построить páрами,  
распушить по штанине канты.  
Все совдепы не сдвинут армий,  
если марш не дадут музыканты.

На улицу тащи́те рояли,  
барабан из окна багром!

Барабан,  
рояль раскря́ ли,  
но чтоб грохот был,  
чтоб гром.

Это что – корпеть на заводах,  
перемазать рожу в копоть  
и на роскошь чужую  
в отдых

осовелыми глазками хлопать.

Довольно грошовых истин.

Из сердца старое вытри.

Улицы – наши кисти.

Площади – наши палитры.

Книгой времени

тысячелистой

революции дни не воспеты.

На улицы, футуристы,

барабанщики и поэты!

1918



# Юбилейное

Александр Сергеевич,  
разрешите представиться.  
Маяковский.  
Дайте руку.  
Вот грудная клетка.  
Слушайте,  
уже не стук, а стон:  
тревожусь я о нем,  
в щенка смирённом львенке.  
Я никогда не знал,  
что столько  
тысяч тонн  
в моей  
позорно легкомыслой головенке.  
Я тащу вас.  
Удивляетесь, конечно?  
Стиснул?  
Больно?  
Извините, дорогой.  
У меня,  
да и у вас,  
в запасе вечность.  
Что нам  
потерять

часок-другой?!  
Будто бы вода —  
давайте  
мчать, болтая,  
будто бы весна —  
свободно  
и раскованно!  
В небе вон  
луна  
такая молодая,  
что ее  
без спутников  
и выпускать рискованно.

Я  
теперь  
свободен  
от любви  
и от плакатов.

Шкурой  
ревности медведь  
лежит когтист.

Можно  
убедиться,  
что земля поката, —  
сядь  
на собственные ягодицы  
и катись!

Нет,  
не навяжусь в меланхолишке черной,

да и разговаривать не хочется  
ни с кем.

Только  
жабры рифм  
топырит учащённо  
у таких, как мы,  
на поэтическом песке.

Вред – мечта,  
и бесполезно грезить,  
надо  
весть  
служебную нуду.

Но бывает —  
жизнь  
встает в другом разрезе,  
и большое  
понимаешь  
через ерунду.

Нами  
лирика  
в штыки  
неоднократно атакована,  
ищем речи  
точной  
и нагой.

Но поэзия —  
пресволочнейшая штуковина:  
существует —  
и ни в зуб ногой.

Например,  
вот это —  
говорится или блеется?  
Синемордое,  
в оранжевых усах,  
Навуходоносором  
библейцем —  
«Коопсах».

Дайте нам стаканы!

знаю  
способ старый  
в горе  
дуть винище,  
но смотрите —  
из  
выплывают  
Red и White Star'ы<sup>10</sup>  
с ворохом  
разнообразных виз.  
Мне приятно с вами, —  
рад,  
что вы у столика.  
Муза это  
ловко  
за язык вас тянет.  
Как это  
у вас

---

<sup>10</sup> Красные и белые звезды (англ.).

говаривала Ольга?..  
Да не Ольга!  
из письма  
Онегина к Татьяне.  
— Дескать,  
муж у вас  
дурак  
и старый мерин,  
я люблю вас,  
будьте обязательно моя,  
я сейчас же  
утром должен быть уверен,  
что с вами днем увижусь я. —  
Было всякое:  
и под окном стояние,  
письма,  
тряски нервное желе.  
Вот  
когда  
и горевать не в состоянии —  
это,  
Александр Сергеич,  
много тяжелей.  
Айда, Маяковский!  
Маячь на юг!  
Сердце  
рифмами вымучь —  
вот  
и любви пришел каюк,

дорогой Владим Владимыч.  
Нет,  
не старость этому имя!  
Тушу  
вперед стремя,  
я  
с удовольствием  
справлюсь с двоими,  
а разозлить —  
и с тремя.  
Говорят —  
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!  
Entre nous...<sup>11</sup>  
чтоб цензор не нацыкал.  
Передам вам —  
говорят —  
видали  
даже  
двух  
влюбленных членов ВЦИКа.  
Вот —  
пустили сплетню,  
тешат душу ею.  
Александр Сергеич,  
да не слушайте ж вы их!  
Может,  
я

---

<sup>11</sup> Между нами (фр.).

один  
действительно жалею,  
что сегодня  
нету вас в живых.  
Мне  
при жизни  
с вами  
сговориться б надо.  
Скоро вот  
и я  
умру  
и буду нем.  
После смерти  
нам  
стоять почти что рядом:  
Вы на Пе,  
а я  
на эМ.  
Кто меж нами?  
с кем велите знаться?!  
Чересчур  
страна моя  
поэтами нищá.  
Между нами  
— вот беда —  
позатесался Нádсон.  
Мы попросим,  
чтоб его  
куда-нибудь

на Ща!  
А Некрасов  
Коля,  
сын покойного Алеши, —  
он и в карты,  
он и в стих,  
и так  
неплох на вид.  
Знаете его?  
вот он  
мужик хороший.  
Этот  
нам компания —  
пускай стоит.  
Что ж о современниках?!  
Не просчитались бы,  
за вас  
полсотни о́тдав.  
От зевоты  
скулы  
разворачивает аж!  
Дорогойченко,  
Герасимов,  
Кириллов,  
Родов —  
какой  
однаобразный пейзаж!  
Ну Есенин,  
мужиковствующих свора.



Смех!  
Коровою  
в перчатках лаечных.  
Раз послушаешь...  
но это ведь из хора!  
Балалаечник!  
Надо,  
чтоб поэт  
и в жизни был мастак.  
Мы крепки,  
как спирт в полтавском штофе.  
Ну, а что вот Безыменский?!  
Так...  
ничего...  
морковный кофе.  
Правда,  
есть  
у нас  
Асеев  
Колька.  
Этот может.  
Хватка у него  
моя.  
Но ведь надо  
заработать сколько!  
Маленькая,  
но семья.  
Были б живы —  
стали бы

по Лефу соредатор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

— вот так-то, мол,

и так-то...

Вы б смогли —

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жиркость

и сукна,

в рекламу б

выдал

гумских дам.

(Я даже

ямбом подсюсюкнул,

чтоб только

быть

приятней вам.)

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый.

Нынче

наши перья —

штык

да зубья вил, —

битвы революций

посерьезнее «Полтавы»,  
и любовь  
пограндиознее  
онегинской любви.  
Бойтесь пушкинистов.  
Старомозгий Плюшкин,  
перышко держа,  
полезет  
с перержавленным.  
— Тоже, мол,  
у лефов  
появился  
Пушкин.  
Вот арап!  
а состязается —  
с Державиным...  
Я люблю вас,  
но живого,  
а не мумию.  
Навели  
хрестоматийный глянец.  
Вы  
по-моему́  
при жизни —  
думаю —  
тоже бушевали.  
Африканец!  
Сукин сын Дантес!  
Великосветский шкода.

Мы б его спросили:  
– А ваши кто родители?  
Чем вы занимались  
до 17-го года? —  
Только этого Дантеса бы и видели.  
Впрочем,  
что ж болтанье!  
Спиритизма вроде.  
Так сказать,  
невольник чести...  
пулею сражен...  
Их  
и по сегодня  
много ходит —  
всяческих  
охотников  
до наших жен.  
Хорошо у нас  
в Стране Советов.  
Можно жить,  
работать можно дружно.  
Только вот  
поэтов,  
к сожаленью, нету —  
впрочем, может,  
это и не нужно.  
Ну, пора:  
рассвет  
лучища выкалил.

Как бы  
милиционер  
разыскивать не стал.  
На Тверском бульваре  
очень к вам привыкли.  
Ну, давайте,  
подсажу  
на пьедестал.  
Мне бы  
памятник при жизни  
полагается по чину.  
Заложил бы  
динамиту  
– ну-ка,  
дрызнь!  
Ненавижу  
всяческую мертвечину!  
Обожаю  
всяческую жизнь!

1924

# Тамара и Демон

От этого Терека  
в поэтах  
истерика.  
Я Терек не видел.  
Большая потерийка.  
Из омнибуса  
вразвалку  
сошел,  
поплеывал  
в Терек с берега,  
совал ему  
в пену  
палку.  
Чего же хорошего?  
Полный развал!  
Шумит,  
как Есенин в участке.  
Как будто бы  
Терек  
организовал,  
проездом в Боржом,  
Луначарский.  
Хочу отвернуть  
заносчивый нос

и чувствую:  
стыну на грани я,  
овладевает  
мною  
гипноз,  
воды  
и пены играние.  
Вот башня,  
револьвером  
небу к виску,  
разит  
красотою нетроганой.  
Поди,  
подчини ее  
преду искусств —  
Петру Семенычу  
Когану.  
Стою,  
и злоба взяла меня,  
что эту  
дикость и выступления  
с такой бездарностью  
я  
променял  
на славу,  
рецензии,  
диспуты.  
Мне место  
не в «Красных нивах»,

а здесь,  
и не построчно,  
а даром  
реветь  
стараться в голос во весь,  
срывая  
струны гитарам.

Я знаю мой голос:  
паршивый тон,  
но страшен  
силою ярой.

Кто видывал,  
не усомнится,  
что

я  
был бы услышан Тамарой.

Царица крепится,  
взвинчена хоть,  
величественно  
делает пальчиком.

Но я ей  
сразу:

— А мне начхать,  
царица вы  
или прачка!

Тем более  
с песен —  
какой гонорар?!

А стирка —



в семью копейка.  
А даром  
немного дарит гора:  
лишь воду —  
поди,  
попей-ка! —  
Взъярилась царица,  
к кинжалу рука.  
Козой,  
из берданки ударенной.  
Но я ей  
по-своему,  
вы ж знаете как —  
под ручку...  
любезно...  
— Сударыня!  
Чего кипятитесь,  
как паровоз?  
Мы  
общей лирики лента.  
Я знаю давно вас,  
мне  
много про вас  
говаривал  
некий Лермонтов.  
Он клялся,  
что страстью  
и равных нет...  
Таким мне

мерещился образ твой.  
Любви я заждался,  
мне 30 лет.  
Полюбим друг друга.  
Попросту.  
Да так,  
чтоб скала  
распостелилась в пух.  
От черта скраду  
и от бога я!  
Ну что тебе Демон?  
Фантазия!  
Дух!  
К тому ж староват —  
мифология.  
Не кинь меня в пропасть,  
будь добра.  
От этой ли  
струшу боли я?  
Мне  
даже  
пиджак не жаль ободрать,  
а грудь и бока —  
тем более.  
Отсюда  
дашь  
хороший удар —  
и в Терек  
замертво треснется.

В Москве  
больнее спускают...  
куда!  
ступеньки считаешь —  
лестница.  
Я кончил,  
и дело мое сторона.  
И пусть,  
озверев от помарок,  
про это  
пишет себе Пастернак.  
А мы...  
соглашайся, Тамара! —  
История дальше  
уже не для книг.  
Я скромный,  
и я  
бастую.  
Сам Демон слетел,  
подслушал,  
и сник,  
и скрылся,  
смердя  
впустую.  
К нам Лермонтов сходит,  
презрев времена.  
Сияет —  
«Счастливая парочка!»  
Люблю я гостей.

Бутылку вина!  
Налей гусару, Тamarочка!

1924



Обложка журнала «Шквал» с автошаржем В.В. Маяковского

# Сергею Есенину

Вы ушли,  
как говорится,  
в мир иной.  
Пустота...  
Летите,  
в звезды врезываясь.  
Ни тебе аванса,  
ни пивной.  
Трезвость.  
Нет, Есенин,  
это  
не насмешка.  
В горле  
горе комом —  
не смешок.  
Вижу —  
врезанной рукой помешкав,  
собственных  
костей  
качаете мешок.  
— Прекратите!  
Бросьте!  
Вы в своем уме ли?  
Дать,

чтоб щеки  
заливал  
смертельный мел?!  
Вы ж  
такое  
загибать умели,  
что другой  
на свете  
не умел.  
Почему?  
Зачем?  
Недоуменье смяло.  
Критики бормочут:  
— Этому вина  
то...  
да сё...  
а главное,  
что смычки мало,  
в результате  
много пива и вина. —  
Дескать,  
заменить бы вам  
богему  
классом,  
класс влиял на вас,  
и было б не до драк.  
Ну, а класс-то  
жажду  
заливает квасом?

Класс – он тоже  
выпить не дурак.  
Дескать,  
к вам приставить бы  
кого из напосто́в —  
стали б  
содержанием  
премного одарённой.  
Вы бы  
в день  
писали  
строк по сто́,  
утомительно  
и длинно,  
как Доронин.  
А по-моему,  
осуществись  
такая бредь,  
на себя бы  
раньше наложили руки.  
Лучше уж  
от водки умереть,  
чем от скуки!  
Не откроют  
нам  
причин потери  
ни петля,  
ни ножик перочинный.  
Может,

окажись  
чернила в «Англетере»,  
вены  
резать  
не было б причины.  
Подражатели обрадовались:  
бис!

Над собою  
чуть не взвод  
расправу учинил.  
Почему же  
увеличивать  
число самоубийств?  
Лучше  
увеличь  
изготовление чернил!

Навсегда  
теперь  
язык  
в зубах затворится.  
Тяжело  
и неуместно  
разводить мистерии.  
У народа,  
у языкотворца,  
умер  
звонкий  
забулдыга подмастерье.  
И несут



стихов заупокойный лом,  
с прошлых  
с похорон  
не переделавши почти.  
В холм  
тупые рифмы  
загонять колом —  
разве так  
поэта  
надо бы почитать?  
Вам  
и памятник еще не слит, —  
где он,  
бронзы звон,  
или гранита грань? —  
а к решеткам памяти  
уже  
понанесли  
посвящений  
и воспоминаний дрянь.  
Ваше имя  
в платочки рассоплено,  
ваше слово  
слюнявит Собинов  
и выводит  
под березкой дохлой —  
«Ни слова,  
о дру-уг мой,  
ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,  
поговорить бы и́наче  
с этим самым  
с Леонидом Лознгринычем!  
Встать бы здесь  
гремящим скандалистом:  
– Не позволю  
мямливать стих  
и мять! —  
Оглушить бы  
их  
трехпалым свистом  
в бабушку  
и в бога душу мать!  
Чтобы разнеслась  
бездарнейшая по́гань,  
раздувая  
тьму  
пиджачных парусов,  
чтобы  
врассыпную  
разбежался Коган,  
встреченных  
увеча  
пиками усов.  
Дрянь  
пока что  
мало поредела.  
Дела много —

только поспевать.

Надо

жизнь

сначала переделать,

переделав —

можно воспевать.

Это время —

трудновато для пера,

но скажите

вы,

калеки и калекши,

где,

когда,

какой великий выбирал

путь,

чтобы протоптанней

и легче?

Слово —

полководец

человечьей силы.

Марш!

Чтоб время

сзади

ядрами рвалось.

К старым дням

чтоб ветром

относило

только

путаницу волос.

Для веселия  
планета наша  
мало оборудована.  
Надо  
вырвать  
радость  
у грядущих дней.  
В этой жизни  
помереть  
не трудно.  
Сделать жизнь  
значительно трудней.

1926

# Четырехэтажная халтура

В центре мира  
стоит Гиз —  
оправдывает штаты служебный раж.  
Чтоб книгу  
народ  
зубами грыз,  
наворачивается  
миллионный тираж.  
Лицо  
тысячеглазого треста  
блестит  
электричеством ровным.  
Вшивают  
в Маркса  
Аверченковы листы,  
выписывают гонорары Цицеронам.  
Готово.  
А зав  
упрется назавтра  
в заглавие,  
как в забор дышлом.  
Воедино  
сброшюровано  
12 авторов!

— Как же это, родимые, вышло? —

Темь

подвалов

тиражом беля,

залегает знание —

и лишь

бегает

по книжным штабелям

жирная провинциалка —

мышь.

А читатели

сидят

в своей уездной яме,

иностранным упиваются,

мозги щадя.

В Африки

вослед за Бенуями

улетают

на своих жилплощадах.

Званье —

«пролетарские» —

нося как эполеты,

без ошибок

с Пушкина

списав про вёсны,

выступают

пролетарские поэты,

развернув

рулоны строф повёрстных.

Чем вы – пролетарий,  
уважаемый поэт?

Вы

с богемой слились  
9 лет назад.

Ну, скажите,  
уважаемый пролет, —

вы давно

динаму

видели в глаза?

– Извините

нас,

сермяжных,

за стишонок неудачненький.

Не хотите

под гармошку поплясать ли? —

Это,

в лапти нарядившись,

выступают дачники

под заглавием —

крестьянские писатели.

О, сколько нуди такой городимо,

от которой

мухи падают замертво!

Чего только стоит

один Радимов

с греко-рязанским своим гекзаметром!

Разлунивши

лысины лачки,

убежденно  
взявши  
ручку в ручки,  
бороденок  
теребя пучки,  
честно  
пишут про Октябрь  
попутчики.

Раньше  
маленьким казался и Лесков —  
рядышком с Толстым  
почти не виден.

Ну, скажите мне,  
в какой же телескоп  
в те недели  
был бы виден Лидин?!

— На Руси  
одно веселье —  
пити... —

А к питью  
подай краюху  
и кусочек сыру.  
И орут писатели  
до хрипоты  
о быте,  
увлекаясь  
бытом  
госиздатовских кассиров.  
Варят чепуху



под клубы  
трубочного дыма —  
всякую уху  
сожрет  
читатель-Фока.

А неписанная жизнь  
проходит  
мимо  
улицею фыркающих о́кон.

А вокруг  
скачут критики  
в мыле и пене:  
— Здорово пишут писатели, братцы!

— Гений-Казин,  
Санников-гений...

Все замечательно!

Рады стараться! —

С молотка  
литература пущена.

Где вы,  
сеятели правды  
или звезд сиятели?

Лишь в четыре этажа халтурщина:

Гиза,  
критика,  
читаки  
и писателя.

Нынче  
стала

зелень веток в редкость,  
гол  
литературы ствол.  
Чтобы стать  
поэту крепкой веткой —  
выкрепите мастерство!

1926

# Разговор с фининспектором о поэзии

Гражданин фининспектор!  
Простите за беспокойство.  
Спасибо...  
не тревожьтесь...  
я постою...  
У меня к вам  
дело  
деликатного свойства:  
о месте  
поэта  
в рабочем строю.  
В ряду  
имеющих  
лабазы и угожья  
и я обложен  
и должен караться.  
Вы требуете  
с меня  
пятьсот в полугодие  
и двадцать пять  
за неподачу деклараций.  
Труд мой  
любому

труду  
родствен.  
Взгляните —  
сколько я потерял,  
какие  
издержки  
в моем производстве  
и сколько тратится  
на материал.

Вам,  
конечно, известно явление «рифмы».

Скажем,  
строчка  
окончилась словом  
«отца»,  
и тогда  
через строчку,  
слога повторив, мы  
ставим  
какое-нибудь:  
ламцадрица-ца́.

Говоря по-вашему,  
рифма —  
вексель.  
Учесть через строчку! —  
вот распоряжение.

И ищешь  
мелочишку суффиксов и флексий  
в пустующей кассе

склонений  
и спряжений.  
Начнешь это  
слово  
в строчку всовывать,  
а оно не лезет —  
нажал и сломал.  
Гражданин фининспектор,  
честное слово,  
поэту  
в копеечку влетают слова.  
Говоря по-нашему,  
рифма —  
бочка.  
Бочка с динамитом.  
Строчка —  
фитиль.  
Строка додымит,  
взрывается строчка, —  
и город  
на воздух  
строфой летит.  
Где найдешь,  
на какой тариф,  
рифмы,  
чтоб враз убивали, нацелясь?  
Может,  
пяток  
небывалых рифм

только и остался  
что в Венецуэле.  
И тянет  
меня  
в холода и в зной.  
Бросаюсь,  
опутан в авансы и в займы я.  
Гражданин,  
учтите билет проездной!  
— Поэзия  
— вся! —  
езда в неизвестное.  
Поэзия —  
та же добыча радия.  
В грамм добыча,  
в год труды.  
Изводишь  
единого слова ради  
тысячи тонн  
словесной руды.  
Но как  
испепеляюще  
слов этих жжение  
рядом  
с тлением  
слова-сырца.  
Эти слова  
приводят в движение  
тысячи лет

миллионов сердца.  
Конечно,  
различны поэтов сорта.  
У скольких поэтов  
легкость руки!  
Тянет,  
как фокусник,  
строчку изо рта  
и у себя  
и у других.  
Что говорить  
о лирических кастратах?!

Строчку  
чужую  
вставит – и рад.  
Это  
обычное  
воровство и растрата  
среди охвативших страну растрат.  
Эти  
сегодня  
стихи и оды,  
в аплодисментах  
ревомяе ревя,  
войдут  
в историю  
как накладные расходы  
на сделанное  
нами —

двумя или тремя.  
Пуд,  
как говорится,  
соли столовой  
съешь  
и сотней папирос клуби,  
чтобы  
добыть  
драгоценное слово  
из артезианских  
людских глубин.  
И сразу  
ниже  
налога рост.  
Скиньте  
с обложенья  
нуля колесо!  
Рубль девяносто  
сотня папирос,  
рубль шестьдесят  
столовая соль.  
В вашей анкете  
вопросов масса:  
— Были выезды?  
Или выездов нет? —  
А что,  
если я  
десяток пегасов  
загнал



за последние

15 лет?

У вас —

в мое положение войдите —

про слуг

и имущество

с этого угла.

А что,

если я

народа водитель

и одновременно —

народный слуга?

Класс

гласит

из слова из нашего,

а мы,

пролетарии,

двигатели пера.

Машину

души

с годами изнашиваешь.

Говорят: —

в архив,

исписался,

пора! —

Все меньше любитя,

все меньше дерзается,

и лоб мой

время

с разбега круши́т.  
Приходит  
страшнейшая из амортизаций —  
амортизация  
сердца и души.  
И когда  
это солнце  
разжиревшим боровом  
взойдет  
над грядущим  
без нищих и калек, —  
я  
уже  
сгнию,  
умерший под забором,  
рядом  
с десятком  
моих коллег.  
Подведите  
мой  
посмертный баланс!  
Я утверждаю  
и – знаю – не налгу:  
на фоне  
сегодняшних  
дельцов и пролаз  
я буду —  
один! —  
в непролазном долгу.

Долг наш —  
реветь  
медногорлой сиреной  
в тумане мещанья,  
у бурь в кипенье.

Поэт  
всегда  
должник вселенной,  
платящий  
на горе  
проценты  
и пени.

Я  
в долгу  
перед Бродвейской лампионией,  
перед вами,  
багдадские небеса,  
перед Красной Армией,  
перед вишнями Японии —  
перед всем,  
про что  
не успел написать.

А зачем  
вообще  
эта шапка Сене?  
Чтобы — целься рифмой —  
и ритмом ярись?  
Слово поэта —  
ваше воскресение,

ваше бессмертие,  
гражданин канцелярист.  
Через столетья  
в бумажной раме  
возьми строку  
и время верни!  
И встанет  
день этот  
с фининспекторами,  
с блеском чудес  
и с вонью чернил.  
Сегодняшних дней убежденный житель,  
выправьте  
в энкапезс  
на бессмертье билет  
и, высчитав  
действие стихов,  
разложите  
заработок мой  
на триста лет!  
Но сила поэта  
не только в этом,  
что, вас  
вспоминая,  
в грядущем икнут.  
Нет!  
И сегодня  
рифма поэта —  
ласка

и лозунг,  
и штык,  
и кнут.  
Гражданин фининспектор,  
я выплачу пять,  
все  
нули  
у цифры скрестя!  
Я  
по праву  
требую пядь  
в ряду  
беднейших  
рабочих и крестьян.  
А если  
вам кажется,  
что всего делов —  
это пользоваться  
чужими словесами,  
то вот вам,  
товарищи,  
мое стилó,  
и можете  
писать  
сами!



Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,  
лик намалюй мой в божницу уродца века!  
Я одинок, как последний глаз  
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,  
насмешек грозою  
душу на блюде несу  
к обеду идущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей.

«Да молчит всякая плоть человеческа и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынниках» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

*Борис Пастернак.*

*«Люди и положения»*

# Массам непонятно

Между писателем  
и читателем  
стоят посредники,  
и вкус  
у посредника  
самый средненький.  
Этаких  
средненьких  
из посреднической рати  
тыща  
и в критиках  
и в редакторате.  
Куда бы  
мысль твоя  
ни скакала,  
этот  
все  
озирает сонно:  
– Я  
человек  
другого закала.  
Помню, как сейчас,  
в стихах  
у Надсона...



Рабочий  
не любит  
строчек коротеньких.  
А еще  
посредников  
кроет Асеев.  
А знаки препинания?  
Точка —  
как родинка.  
Вы  
стих украшаете,  
точки рассеяв.  
Товарищ Маяковский,  
писали б ямбом,  
двугривенный  
на строчку  
прибавил вам бы. —  
Расскажет  
несколько  
средневековых легенд,  
объяснение  
часа на четыре затянет,  
и ко всему  
приказывает  
унылый интеллигент:  
— Вас  
не понимают  
рабочие и крестьяне. —  
Сникает

автор  
от сознания вины.  
А этот самый  
критик влиятельный  
крестьянина  
видел  
только до войны,  
при покупке  
на даче  
ножки телятины.  
А рабочих  
и того менее —  
случайно  
двух  
во время наводнения.  
Глядели  
с моста  
на места и картины,  
на разлив,  
на плывущие льдины.  
Критик  
обошел умиленно  
двух представителей  
из десяти миллионов.  
Ничего особенного —  
руки и груди...  
Люди – как люди!  
А вечером  
за чаем

сидел и хвастал:  
— Я вот  
знаю  
рабочий класс-то.  
Я  
душу  
прочел  
за их молчаньем —  
ни упадка,  
ни отчаяния.  
Кто может  
читаться  
в таком классе?  
Только Гоголь,  
только классик.  
А крестьянство?  
Тоже.  
Никак не иначе.  
Как сейчас помню —  
весною, на даче... —  
Этакие разговорчики  
у литераторов  
у нас  
часто  
заменяют  
знание масс.  
И идут  
дореволюционного образца  
творения слова,

кисти  
и резца.  
И в массу  
плывет  
интеллигентский дар —  
грезы,  
розы  
и звон гитар.  
Прошу  
писателей,  
с перепугу бледных,  
бросить  
высюсюкивать  
стихи для бедных.  
Понимает  
ведущий класс  
и искусство  
не хуже вас.  
Культуру  
высокую  
в массы двигай!  
Такую,  
как и прочим.  
Нужна  
и понятна  
хорошая книга —  
и вам,  
и мне,  
и крестьянам,



# Во весь голос (Первое вступление в поэму)

Уважаемые  
товарищи потомки!  
Роясь  
в сегодняшнем  
окаменевшем г...,  
наших дней изучая потемки,  
вы,  
возможно,  
спросите и обо мне.  
И, возможно, скажет  
ваш ученый,  
кроя эрудицией  
вопросов рой,  
что жил-де такой  
певец кипяченой  
и ярый враг воды сырой.  
Профессор,  
снимите очки-велосипед!  
Я сам расскажу  
о времени  
и о себе.  
Я, ассенизатор  
и водовоз,

революцией  
мобилизованный и призванный,  
ушел на фронт  
из барских садоводств  
поэзии —  
бабы капризной.  
Засадил садик мило,  
дочка,  
дача,  
водь  
и гладь —  
сама садик я садила,  
сама буду поливать.  
Кто стихами льет из лейки,  
кто кропит,  
набравши в рот —  
кудреватые Митрейки,  
мудреватые Кудрейки —  
кто их, к черту, разберет!  
Нет на прорву карантина —  
мандолинят из-под стен:  
«Тара-тина, тара-тина,  
т-эн-н...»  
Неважная честь,  
чтоб из этаких роз  
мои изваяния высились  
по скверам,  
где харкает туберкулез,  
где б... с хулиганом

да сифилис.  
И мне  
агитпроп  
в зубах навяз,  
и мне бы  
строчить  
романсы на вас —  
доходней оно  
и прелестней.  
Но я  
себя  
смирял,  
становясь  
на горло  
собственной песне.  
Слушайте,  
товарищи потомки,  
агитатора,  
горлана-главаря.  
Заглуша  
поэзии потоки,  
я шагну  
через лирические томики,  
как живой  
с живыми говоря.  
Я к вам приду  
в коммунистическое далекó  
не так,  
как песенно-есененный провитязь.



Мой стих дойдет  
через хребты веков  
и через головы  
поэтов и правительств.  
Мой стих дойдет,  
но он дойдет не так, —  
не как стрела  
в амурно-лировой охоте,  
не как доходит  
к нумизмату стершийся пятак  
и не как свет умерших звезд доходит.  
Мой стих  
трудом  
громаду лет прорвет  
и явится  
весомо,  
грубо,  
зримо,  
как в наши дни  
вошел водопровод,  
сработанный  
еще рабами Рима.  
В курганах книг,  
похоронивших стих,  
железки строк случайно обнаруживая,  
вы  
с уважением  
ощупывайте их,  
как старое,

но грозное оружие.

Я

ухо

словом

не привык ласкать;

ушку девическому

в завиточках волоска

с полупохабщины

не разалеться тронуту.

Парадом развернув

моих страниц войска,

я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжело,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,

к жерлу прижав жерло

нацеленных

зияющих заглавий.

Оружия

любимейшего

род,

готовая

рвануться в гике,

застыла

кавалерия острот,

поднявши рифм

отточенные пики.

И все

поверх зубов вооруженные войска,  
что двадцать лет в победах  
пролетали,

до самого

последнего листка

я отдаю тебе,

планеты пролетарий.

Рабочего

громады класса враг —

он враг и мой,

отъявленный и давний.

Велели нам

идти

под красный флаг

года труда

и дни недоеданий.

Мы открывали

Маркса

каждый том,

как в доме

собственном

мы открываем ставни,

но и без чтения

мы разбирались в том,

в каком идти,

в каком сражаться стане.

Мы

диалектику  
учили не по Гегелю.  
Бряцанием боев  
она врывалась в стих,  
когда  
под пулями  
от нас буржуи бегали,  
как мы  
когда-то  
бегали от них.  
Пускай  
за гениями  
безутешною вдовой  
плетется слава  
в похоронном марше —  
умри, мой стих,  
умри, как рядовой,  
как безымянные  
на штурмах мерли наши!  
Мне наплевать  
на бронзы многопудье,  
мне наплевать  
на мраморную слизь.  
Сочтемся славою —  
ведь мы свои же люди, —  
пускай нам  
общим памятником будет  
построенный  
в боях

социализм.

Потомки,  
словарей проверьте поплавки:

из Леты

выплывут

остатки слов таких,

как «проституция»,

«туберкулез»,

«блокада».

Для вас,

которые

здоровы и ловки,

поэт

вылизывал

чахоткины плевки

шершавым языком плаката.

С хвостом годов

я становлюсь подобием

чудовищ

ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,

давай быстрее протопаем,

протопаем

по пятилетке

дней остаток.

Мне

и рубля

не накопили строчки,

краснодеревщики

не слали мебель на́ дом.  
И кроме  
свежевымытой сорочки,  
скажу по совести,  
мне ничего не надо.  
Явившись  
в Це Ка Ка  
идущих  
светлых лет,  
над бандой  
поэтических  
рвачей и выжиг  
я подыму,  
как большевистский партбилет,  
все сто томов  
моих  
партийных книжек.

Декабрь 1929 – январь 1930



<...> 80 % рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редакторá или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна.

Редактора знают только «мне нравится» или «не нравится», забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать стихотворные рукописи, не знают, что сказать при этом.

Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М. Бродовского (Шенгели, Греча и т. д.), все ваши рифмы – испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квалифицированного переписчика, по три рубля за лист, при условии представления трех копий».

Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам как к делу, требующему большего труда. Во всяком случае, поэт бросит заноситься перед работающим хроникером, у которого хотя бы новые происшествия имеются на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывание страниц.



Владимир Маяковский

Во имя поднятия поэтической квалификации, во имя расцвета поэзии в будущем надо бросить выделение этого самого легкого дела из остальных видов человеческого труда.<...>

Чтобы написать о тихой любви, поезжайте в автобусе № 7 от Лубянской площади до площади Ногина. Эта отвратительная тряска лучше всего оттенит вам



прелесть другой жизни. Тряска необходима для сравнения.

Время нужно и для выдержки уже написанной вещи.

Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, несделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать.

Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки.

*Владимир Маяковский.*

*Из статьи «Как делать стихи?»*

